



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Колыванский муж

Содержание

Глава первая	0005
Глава вторая	0012
Глава третья	0017
Глава четвертая	0021
Глава пятая	0024
Глава шестая	0031
Глава седьмая	0043
Глава восьмая	0050
Глава девятая	0058
Глава десятая	0067
Глава одиннадцатая	0072
Глава двенадцатая	0076
Глава тринадцатая	0091
Глава четырнадцатая	0102
Глава пятнадцатая	0115
Глава шестнадцатая	0125

Николай Лесков
Колыванский муж
(Из остзейских наблюдений)

*Пошел по канун
И сам потонул.
Русск. пословица*

Глава первая

Из городов балтийского побережья я жил четыре сезона в Ревеле, четыре в окрестностях Риги и три в Аренсбурге, на острове Эзеле. В одну из моих побывок в Ревеле, – помнится, в первый год, когда там губернаторствовал М. Н. Галкин-Врасский, – я нанял себе домик в аллее «Под каштанами». Это в самом Екатеринентале, близко парка, близко купален, близко «салона» и недалеко от дома губернатора, к которому я тогда был вхож.

На дворе у моих дачных хозяев стояли три домика – все небольшие, деревянные, выкрашенные серенькою краскою и очень чисто содержанные. В домике, выходившем на улицу, жила сестра бывшего петербургского генерал-губернатора, князя Суворова, – престарелая княгиня Горчакова, а двухэтажный домик, выходивший одною стороною на двор, а другою – в сад, был занят двумя семействами: бельэтаж принадлежал мне, а нижний этаж, еще до моего приезда, был сдан другим жильцам, имени которых мне не называли, а сказали просто:

– Тут живут немки.

Все мы были жильцы тихие и, что называется, «обстоятельные». Важнее всех между нами была, разумеется, княгиня Варвара Аркадьевна Горчакова, влиятельное значение которой было, может быть, даже немножко преувеличено. О ней говорили, будто она «может сделать все через брата». Она, кажется, знала, что о ней так говорят, и не тяготилась этим. Впрочем, для некоторых она что-то и делала. Постоянное занятие ее состояло в том, что она принимала визиты знатных соотечественников и молилась Богу в русском соборе. Там тогда дьяконствовал нынешний настоятель русской церкви в Вене, о. Николаевский, который отличался изяществом в священнослужении и почитался национальным борцом и «истинно русским человеком», так как он корреспондировал в московскую газету покойного Аксакова.

У княгини Горчаковой можно было встретить всю местную и наездную знать, начиная с М. Н. Галкина и Ланских до вице-губернатора Поливанова, которого не знали, на какое место ставить в числе «истинно русских лю-

дей». Княгиня также принимала, разумеется, и духовенство, особенно священника Феодора Знаменского и диакона Николаевского. В «фамилиях» у духовенства княгиня имела крестников и фаворитов, которым она понемножку «благодетельствовала» – впрочем, только «малыми» и «средними» дарами. До настоящих, «больших», она не доходила и имела, кажется, на то достаточные причины. Вообще же среди всего, что было в тот год знатного в Ревеле, княгиня Варвара Аркадьевна имела самое первое и почетное положение, и ее serene домик ежедневно посещался как немецкими баронами, имевшими основание особенно любить и уважать ее брата, так и всеми более или менее достопримечательными «истинно русскими людьми».

Все здесь наперебой старались быть исказительнее один другого, но отнюдь не все знали, на что им это годится и вообще может ли это хоть на что-нибудь годиться.

И дом, и круг были прелюбопытные и обещали много интереса.

Я большую часть своего времени проводил за столом у окна, выходящего в сад, кото-

рым, по условиям найма, имели равное право пользоваться жильцы верхнего и нижнего этажей, то есть мои семейные и занимавшие нижний этаж «немки». Но немки, нанявшие квартиру несколько раньше меня, не хотели признавать нашего права на совместное пользование садом; они всё спорили с хозяйкою и утверждали, что та им будто бы об этом ни слова не сказала и что это не могло быть иначе, потому что они ни за что бы не согласились жить на таких условиях, чтобы их дети должны были играть в одном саду вместе с русскими детьми.

Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом сначала через донесение прислуги, для которой хозяйские контры на самых первых порах при занятии дачи представляли много захватывающего интереса, а потом я сам услышал распрю в фазе ее наивысшего развития, когда спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это было в полдень. В сад вышли три немки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями; дама молодая и весьма красивая, од-

ного типа и сильно схожая с первой, и третья – наша хозяйка, онемеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользование садом.

Все были в большом волнении – особенно хозяйка и старшая из двух «нижних дам», как их называла моя прислуга.

Хозяйка возвышенным голосом говорила:

– Я вас предупреждала... я говорила, что наверху будут жильцы, и сад всем вместе.

А старшая дама на все кротко отвечала: «Nein!»[1] и встряхивала бруклями и краснела. Младшая дама трогала обеих этих за руки и упрашивала их «не разбудить малютку».

Сама же эта дама держала за руки двух хорошо одетых мальчиков – одного лет пяти и другого лет трех. Оба они не спали. Значит, кроме этих двух детей, было еще третье, которое спало. Может быть, это слабое и больное дитя. Бедная мать так за него беспокоится.

Мне стало жаль ее, и, чтобы положить конец тяжелой сцене, я решился отказаться от сада и кликнул домой своих племянников.

Дети вышли, за ними удалилась хозяйка, и садик остался в обладании двух немок. Они

успокоились, вышли и повесили на дверце садовой решетки замок.

Хозяйка при встрече со мною жаловалась на возложение замка, называла это «дерзостью» и советовала мне где-то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрасно прозвала обеих дам «язвительными немками».

Я не поддавался этому злomu внушению и находил в обеих дамах много симпатичного. Я на них не жаловался, оставался вежлив, спокоен и не предъявлял более на сад никаких требований. Садик оставался постоянно запертым, но мы от этого не чувствовали ни малейшего лишения, так как деревья своими зелеными вершинами прямо лезли в окна, а роскошный екатеринентальский парк начинался сейчас же у нашего домика.

Немки выжили нас из садика не по надобности, а как будто больше по какому-то принципу. Впрочем, он был им нужнее, чем нам. Они почти постоянно были в саду обе и с двумя детьми и непременно запирались на замок. Это им было не совсем ловко делать – надо было перевешиваться за решетку и вде-

вать замок в пробой с наружной стороны, но они все это выполняли тщательно и аккуратно. Я думал, что они опасаются, как бы мы не ворвались в садик насильно, и тогда им придется нас выбивать вон. При этом им, вероятно, представлялась война, а судьбы всякой войны неразгаданны, и потому лучше запереться и держаться в своем укреплении.

Глава вторая

Так это и шло. Победа была за немками, и никто не покушался у них ее оспаривать. Дети наши были совершенно равнодушны к маленькому домашнему садику ввиду свободы и простора, которые открывал им берег моря, и только кухарка с горничною немножко дулись, так как они рассчитывали на даче пить кофе в «присаднике»; но когда это не удалось, я позаботился успокоить их претензию предоставлением им других выгод, и дело уладилось. Притом же обе эти девушки отличались столь добрыми и незлопамятными сердцами, что удовольствовались возможностью пить свой кофе у растворенного окна и не порывались в садик, а я был даже доволен, что немки никого не пускали в сад, где благодаря этому была постоянная тишина, представлявшая значительные удобства для моих литературных занятий.

Вставая из-за своего рабочего стола и подходя к окну, чтобы покурить папироску, я всегда видел двух этих дам, всегда с работою в руках, и около них двух изящно одетых маль-

чиков, которых звали «Фридэ» и «Воля». Мальчики играли и пели «Anku dranku dri-li-dru, seter faber fiber-fu». Мне это нравилось. Вскоре появился и третий, только недавно еще увидавший свет малютка. Его вывозили в хорошую пору дня в крытой колясочке.

Обе женщины жили, по-видимому, в большой дружбе и в таком полном согласии, что почему-то чувствовалось, как будто у них есть какая-то важная тайна, которую обе они берегут и обе за нее боятся.

Образ жизни их был самый тихий и безупречный. Овладев безраздельно садиком при даче, они им одним и довольствовались и не показывались ни на музыке, ни в парке. Об их общественном положении я не знал ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая из дам называется «баронесса» и что обе они так горды, что никогда не отвечают на поклоны и не знают ни одного слова по-русски.

Только один раз тишина, царствовавшая в их доме, была нарушена посещением трех лиц, из которых первое можно было принять за какое-то явление.

Я первый подстерег, как оно нас осветило, – именно я не могу подобрать другого слова, как *осветило*.

Хлопнула входная серая калитка, и в ней показалось легкое, грациозное и все сияющее светлое создание – молодая белокурая девушка с красивым саквояжем в одной руке и с зонтиком в другой. Платьице на ней было легкое, из бледно-голубого ситца, а на голове простая соломенная шляпа с коричневой лентою и с широкими полями, отенявшими ее прелестное полудетское лицо.

Навстречу ей из окна нижнего этажа раздался возглас:

– Aurora!

Она отвечала:

– Tante!

И вдруг и баронесса, и ее дочь выбежали к Авроре, а Аврора бросилась к ним, и, как говорится, «не было конца поцелуям».

Через час Аврора и младшая из дам вышли в сад. Они долго щебетали и целовались, – потом сели. Аврора теперь была без шляпы, но в очень ловко сшитом платьице, а на голове имела какой-то розовый колпачок, придавав-

ший ее легкой и грациозной фигуре что-то фригийское.

Аврора ласкала даму по голове и несколько раз принималась целовать ее руки и называла ее Лина.

Вышедшая к ним в сад баронесса обнимала и целовала их обеих.

Из их разговора я понял, что Аврора и Лина – кузины.

Вечером в этот же день к ним приехали два почтенные гостя: пастор и вице-адмирал, которого называли «Onkel».[2] Они оставались недолго и уехали. А вслед за ними, в сумерки, пронеслась опять со своим саквояжем Аврора, и ее больше не стало.

Мои девушки узнали, что старая баронесса проводила «эту зажигу» на пароход, и при этом они также расследовали, что «у немок были крестины», и именно окрестили того малютку, который выезжал в сад в своей детской колясочке.

Мне до этого не было никакого дела, и я надеялся, что и позже это никогда меня нисколько не коснется; но вышло, что я ошибался.

Завтра и послезавтра и в целый ряд после-

дующих дней у нас все шло по-прежнему: все наслаждались прекрасными днями погожего лета, два старшие мальчика пели под моими окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный пеленашка спал в своей коляске, как вдруг совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набежавшею с моря страшною бурей.

Глава третья

В один прекрасный день, перед вечером, когда удлинялись тени деревьев и вся дачная публика выбиралась на promenade,[3] – в калитке нашего серого дома показался молодой и очень красивый морской офицер. Значительно растрепанный и перепачканный, он вошел порывисто и спешною походкою направился прямо в помещение, занимаемое немками, где по этому поводу сейчас же обнаружилось некоторое двусмысленное волнение.

Прежде молодая немка прокричала:

– Er ist gekommen... ah![4]

А потом старшая повторила:

– Ah! Er ist gekommen![5]

И вдруг обе суетливо забегали, чего никогда до сих пор не делали.

При открытых окнах у меня вверху и у них внизу, на несчастье, все было слышно из одного помещения в другое. Ночами при общей тишине даже бывало слышно, как пеленашка иногда плачет и как мать его берет и баюкает.

И теперь мне показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мне казалось так потому, что вслед за возгласами «Er ist gekommen!» старшая немка с буклями вылетела в сад с пеленашкою на руках и, прижимая к себе дитя, тревожно, острым взглядом смотрела в окна своего покинутого жилища, где теперь растрепанный моряк остался вдвоем с ее дочерью.

Я сообразил, что, вероятно, пеленашка составляет неожиданный сюрприз для гостя, находящегося в каких-нибудь особенных отношениях к матери и дочери, живущим со мною в соседстве. И вскоре мои подозрения еще увеличились.

Через минуту я увидел, как мать вывела в садик старших мальчиков и, оставив их бабушке, сказала каждому по наставлению, из которого я уловил только:

– Still, Papa,[6] – и сама убежала.

Бабушка охватила внучков руками, как насадка покрывает цыплят крыльями, и тоже внушала:

– Still, Friede, Papa: er ist gekommen! Still, Wolia, Papa!.[7]

Дети слушались бабушку и робко к ней жались. Каждый из них одною ручонкою обхватывал ее руку, а в другой держал по новой игрушке.

«Что же это может значить? – думалось мне. – Неужто и оба старшие мальчики тоже составляют секрет для гостя, точно так же, как и маленький пеленашка?»

Насчет пеленашки у меня уже утвердилось такое понятие, что «рыцарь ездил в Палестину», а в это время старая баронесса плохо смотрела за своей дочкой, и явился пеленашка, которого теперь прячут при возвращении супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытие.

Какая у них, должно быть, теперь происходит тяжелая сцена! Бедный мореходец; бедная белокурая дама; бедная баронесса; бедный и ты, маленький пеленашка!

Чтобы быть дальше от горя, которому ничем нельзя пособить, я взял в руки трость, надел шляпу и ушел к морю.

Но все, что я сообразил насчет причины беспокойства в нижнем семействе, было не совсем так, как я думал. Дело было гораздо

Сложнее и носило отчасти политический или национальный характер.

Глава четвертая

Когда я возвращался домой при сгустившихся сумерках, меня еще за воротами дома встретила моя служанка и в большом волнении рассказала, что приехавший муж молодой немки – «страшный варвар и ужасно бунтует».

– Когда вы ушли, – говорит, – он начал грозно ходить по всем комнатам и кричать разные русские слова, которых повторить невозможно.

– Как, – говорю, – русские?

– Да так, разные слова, самые обидные, и все по-русски, а потом стал швырять вещи и стулья и начал кричать: «вон, вон из дома – вы мне не по ндраву!» и, наконец, прибил и жену и баронессу и, выгнав их вон из квартиры, выкинул им в окна подушки, и одеяла, и детскую колыбель, а сам с старшими мальчиками заперся и плачет над ними.

– О чем же плачет?

– Не знаю, верно пьян напился.

– Почему же вы так обстоятельно все это знаете?

– Шум был, княгиней его пугали, а он и на нее не обращает внимания, а от нас все слышно: и русские слова, и как он их пихнул за дверь, и подушки выкинул... Я говорила хозяйке, чтобы она послала за полицией, но они, и мать и дочь, говорят: «не надо», говорят: «у него это пройдет», а мне, разумеется, – не мое дело.

– Конечно, не ваше дело.

– Да я только перепугалась, что убьет они их, и за наших детей боялась, чтобы они русских слов не слышали. А вас дома нет; я давно смотрела вас, чтобы вы скорее шли, потому что обе дамы с пеленашкой сидят в моей комнате.

– Зачем же они у вас?

– Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на дворе туман, как же можно оставаться на ночь в саду с грудным ребенком! Вы извините, я не могла.

– Нечего, – говорю, – и извиняться: вы прекрасно сделали, что их приютили.

– Они уже дитя уложили, а сами уселись перед лампочкой и достали вязанье.

«Что за странность! – думаю себе, – этих

бедных дам только что вытолкали вон из их собственного жилища, а они, как будто ничего с ними и не случилось, присели в чужой квартире и сейчас за вязанье».

Я не выдержал и высказал это мое удивление девушке, а та отвечает:

– Да, уж и не говорите: удивительные! Этикие слова выслушать, и будто как ничего... Наша бы русская крышу с дома скопала.

– Ну, словб – говорю, – еще ничего: они наших русских слов не знают.

– Понимают все.

– Вы почему знаете?

– А как же я с ними говорила! Ведь по-русски.

Я еще подивился. Такие были твердые немецкие дамы, что ни на одно русское слово не отзывались, а тут вдруг низошел на них дар нашего языка, и они заговорили.

«Так, – думаю себе, – мы преодолеем и все другие их вредные дикости и упорства и доведем их до той полноты, что они у нас уверуют и в чох, и в сон, и в птичий грай, а теперь пока надо хорошенько приютить изгнанниц».

Глава пятая

Это и было исполнено. Баронесса и ее дочь с грудным младенцем ночевали на диванах в моей гостиной, а я тихонько прошел к себе в спальню через кухню. В начале ночи пеленашка немножко попищал за тонкой стеною, но мать и бабушка следили за его поведением и тотчас же его успокоивали. Гораздо больше беспокойства причинял мне его отец, который все ходил и метался внизу по своей квартире и хлопал окнами, то открывая их, то опять закрывая.

Утром, когда я встал, немок в моей квартире уже не было: они ушли; но зато их обидчик ожидал меня в саду, да еще вместе с отцом Федором.

Отец Федор всем в Ревеле был известен как самый добродетельный человек и как трус: он и сам себя всегда рекомендовал человеком робким.

– Я робок, – говорил он. – Я боюсь, всего боюсь и всех боюсь. Детей крестить – и тех боюсь: держать их страшно; и покойников боюсь: на них глядеть страшно.

Отец Федор сам рассказывал, что он «первый был прислан сюда бороться с немцами» и «очень бы рад был их всех побороть, но не мог, потому что он *всех их боится*».

Робость этого первого виденного мною «борца» была замечательная, и ее нельзя и не нужно чем-нибудь приукрашивать; да это и неудобно, потому что на свете еще живы коллеги отца Федора и множество частных людей, которые хорошо его знали.

Он боялся всего на свете: неодушевленной природы, всех людей и всех животных и даже насекомых. И сам он, как выше замечено, над этою своею слабостью смеялся и шутил, но побороть ее в себе не мог.

Он не мог войти без провожатого в темную комнату, хотя бы она была ему как нельзя более известна; убегал из-за стола, если падала соль; замирал, если в комнате появлялись три свечки; обходил далеко кругом каждую корову, потому что она «может боднуть», обходил лошадь, потому что она «может брыкнуть»; обходил даже и овцу и свинью и рассказывал, что все-таки с ним был раз такой случай, что свинья остановилась перед ним и

завизжала. По счастью, он убежал, но после все-таки у него долго сердце билось. Собак, кошек, крыс и мышей он боялся еще более. Он был уверен, что один раз даже мышь укусила его сонного за пятку. О собаках уже и говорить нечего, а кошки представляли в его глазах двойную опасность: во-первых, они царапаются, а потом они могут переесть сонному горло.

И этот-то великий трус расхаживал по саду и разговаривал самым приятельским образом с драчуном, причем один только драчун обнаруживал некоторое внутреннее волнение и обрывал губами листочки с ветки сирени, которую держал в руке, а отец Федор даже похохатывал и, приседая на ходу, хлопал себя длинными руками по коленам.

При одном из оборотов он увидел меня у окна и, совсем развеселившись, закричал:

– Пожалуйста сюда к нам поскорее! Пожалуйста! Мы вас ждем.

Драчун был человек в цветущей поре: он по виду мог иметь немного за тридцать. Он был с открытым, довольно приятным и даже, можно сказать, привлекательным русским

лицом, выразившим присутствие здравого смысла, добродушной доверчивости и большой терпеливости. По общему выражению больших и в своем роде прекрасных темно-карих глаз и всей его физиономии и движениям головы он напоминал бычка – молодого, смиренного и добронравного заводского бычка. Он все потихоньку отматывал голову в одну сторону и, очевидно, мог так мотать долго, но потом мог и боднуть, не разбирая, во что попадет и во что ему самому это обойдется. Теперь в больших карих глазах у бычка как раз светилось отражение большой, свежеперенесенной и тяжелой обиды, после которой он только боднул и еще не совсем успокоился. Довольно полное лицо его то бледнело, то покрывалось краскою гнева, внезапно набегавшею и разливавшеюся под загорелую и огрубевшею от морского ветра кожей.

Все это отчетливо и ясно бросилось мне в глаза, когда я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас же схватил за руки и, весело смеясь, закричал:

– Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте

скорее сюда, сюда... Вот вам рекомендую – Иван Никитич Сипачев.[8] Отличный, образованный человек, говорит на трех языках, и мой духовный сын, и музыкант, и певец, и все что хотите... Ха-ха-ха!.. Любите меня – полюбите и его... Ха-ха-ха!.. Вы думаете, что Иван Никитич буйан и разбойник?.. Ха-ха-ха! Он смирный, как самый смирный теленок.

Мне Иван Никитич казался бычком, а отец Федор его почитал теленочком: разница выходила небольшая, и если он даже отцу Федору кажется не страшным, то уже, верно, он в самом деле не страшен.

А отец Федор продолжает свою рекомендацию и говорит:

– Ивану Никитичу с вами надо объяснить... Это не он придумал, а я, я. Вы меня за это простите. Он растерялся и придумывал бог знает что... Хотел на себя руки наложить, а я его удержал. Я говорю: «Этот человек мне знаком, пойдите к нему и объяснитесь...» Он – «Ни за что! – говорит. – Я так себя вел». А я говорю: «Что же теперь делать! Надо все объяснить... Объяснить с русской точки зрения, а не стреляться и не сваливать себя в гроб соб-

ственной рукою». Иван Никитич прибегает сегодня чем свет, будит меня и что говорит... Вы только подумайте, вы подумайте, вы вспомните, что вы мне говорили! – обратился он к офицеру. – Ай-ай-ай! Ай, нехорошо!.. Ай, нехорошо!.. А я утешать словами никого не умею... Что, братцы, делать – не умею. Отец Михаил или отец Константин – те умеют, а я не умею. Я только сказал: «Отложи попечение! Все это еще, может быть, обомнется». Так это или нет?

Офицер тихо качнул головой и сказал:

– Так!

– Да, я так его от себя и не пустил, и вот так его сюда и привел, – и пусть он сам все расскажет.

– Зачем же это? – говорю.

– Нет, отчего же? Ему легче будет, чтобы о нем не думали дурно. Он сам желает...

В это время и сам моряк отозвался.

– Да, – говорит, – извините: я себя поставил в такое недостойное положение, что мне нельзя оставить без объяснения то, что я наделал. Мне это необходимо... Потребность души... потребность души...

– Вы теперь очень взволнованы, а после можете пожалеть.

– Нет, я не буду жалеть. Я действительно взволнован, но жалеть не буду.

– Вот видите! – поддержал отец Федор. – Пусть он все говорит, – ему будет легче.

– Да, мне будет легче, – подсказал офицер и бросил на скамейку свою фуражку. – Я не хочу, чтобы обо мне думали, что я негодяй и бун, и оскорбляю женщин. Довольно того, что это было и что причины этого я столько лет таил, снося в моем сердце; но тут я больше не выдержал, я не мог выдержать – прорвало. Подло, но надо знать, за что. Вы должны выслушать мою повесть.

Отец Федор сблизил мою руку с рукой офицера и подсказал:

– Да, голубчики. – это повесть.

Что же мне оставалось делать? Я, разумеется, согласился слушать оправдание о том, за что были выгнаны воспитанные и милые дамы, из которых одна была жена рассказчика, а другая – ее мать, самая внушающая почтение старушка.

Глава шестая

Бычок махнул головою в сторону и начал:
– Вы и всякий имеет полнейшее право презирать меня после того, что я наделал, и если бы я был на вашем месте, а в моей сегодняшней роли подвизался другой, то я, может быть, даже не стал бы с ним говорить. Что тут уж и рассказывать! Человек поступил совсем как мерзавец, но поверьте... (у него задрожало все лицо и грудь) поверьте, я совсем не мерзавец, и я не был пьян. Да, я моряк, но я вина не люблю и никогда не пью вина.

– Не пьет, никогда не пьет, – поддержал отец Федор.

Священник ручается. Надо верить. А он, оказывается, так наблюдателен, что как будто читает на лице все отражения мыслей.

– Мне это стыдно, – говорит он, – стыдно взрослому человеку уверять, что я совсем не пью вина. Ведь я совершеннолетний мужчина и моряк, а не институтка. Отчего бы я и не смел пить вино? Но я его действительно не пью, потому что оно мне не нравится, мне все вина противны. И это, может быть, тем хуже,

что я был совершенно трезв, когда обидел и выгнал мою жену и тещу... Да, я был трезв точно так же, как теперь, когда я не знаю, как мне вас благодарить за то, что вы дали им у себя приют, иначе они должны бы были ночевать с детьми в парке или в гостинице, и теперь об этом моем тиранстве знал бы уже целый город. Здесь ведь кишит сплетня. Подняли бы такой вой... «Русский офицер как обращается с своею женою! Мужик, невежа. Женился на баронессе». И все это правда: я русский офицер, и действительно, если вам угодно, по образованию я мужик в сравнении с моею женою, особенно с ее матерью; но ведь они обе знали, что я русский человек, воспитывался в морском училище на казенный счет, но по-французски и по-немецки я, однако, говорю и благодаря родительским заботам кое-что знаю, но над общим уровнем я, конечно, не возвышаюсь и имею свои привязанности. Я каким себя предъявлял им, таков я и есть, так и живу. Я ни в чем их не обманул, ни жену, ни всеми уважаемую мою тещу, между тем как они сделали из моей семьи мой позор и терзание.

Всякий, услышав то, что я говорю, вероятно, подумал бы, что, конечно, моя жена мне не верна, что она изменяет своим супружеским обетам; но это неправда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всем своим семейным обязанностям чрезвычайно добросовестно и строго. В этом отношении я счастливей великого множества женатых смертных; но у меня есть горе хуже этого, больнее.

– Да, гораздо хуже, – вздохнул отец Федор. – Больнее.

Я недоумевал: что же может быть «хуже этого и больнее»?

А мореход продолжал:

– Измена тяжела, но ее можно простить. Трудно, но можно. Женщины же нам прощают наши измены, отчего же и мы им простить не можем? Я знаю, что на этот счет говорят, но ведь это предрассудок. «Чужое дитя!» Ну и что же такое? Ну и покорми чужое дитя. Ведь это не грех, а мы ведь считаем, что мы умнее и справедливее женщин и во всех отношениях их совершеннее. Покорми! И если женщина увлеклась и потом сожалеет о

своём увлечении, прости ее и не обличай. Она может перемениться и исправиться. То же и они ведь недаром живут на свете и приобретают опыт. Я таких убеждений, и я чувствую, что я все это мог бы исполнить, но этого в моей жизни нет. Этим я не наказан; но то, что я переношу и что уже два раза перенес, да, вероятно, и третий перенесу – этому нет сравнения, потому что это уязвляет меня в самый корень. Это поражает меня до недр моего духа; это убивало моего отца и мать, отторгало меня от самых священных уз с моею родней, с моим народом. Это, наконец, делает меня смешным и жалким шутком, которому тычут в нос шиши. Однако я и это сносил, но когда это повторяется без конца – этого снести невозможно.

– Извините, – говорю, – я не понимаю, в чем дело.

– Я поясню. У меня был отец старик, и уважаемый старик. Он жил в своем имении в Калужской губернии, и матушка тоже достойная всякого уважения: они жили мирно, покойно, и их уважали. Я у них один-единственный сын. Есть сестра, но она далеко, замужем

за доктором-немцем, на Амуре. У нее уже другая фамилия, а мужского поколения только один и есть – это я. Дядюшка в Москве, отцов брат, старый холостяк, весь век все славянской археологией занимался и забыл жениться. И отец мой и мать, разумеется, были насквозь русские люди, а о московском дяде уж и говорить нечего. Он с Киреевскими, с Аксаковыми – со всеми знаком. Словом, всё самые настоящие родовитые и истинно русские люди, а из меня вышла какая-то «игра природы». Моя жизнь – это какой-то глупый роман. Но это говорить надо по пунктам.

– И прекрасно! – воскликнул отец Федор, – теперь я вижу, что вы разговоритесь и дело будет хорошо, а я уйду – мне есть дело.

Мы его не удерживали и остались вдвоем в беседке из купы сирени.

Рассказчик продолжал свою страстную и странную повесть.

– Это мой третий брак – на Лине Н. Первый раз я был женат в Москве, по общему семейному избранию, на «девице из благословенного дома». Это должно было принести мне большое счастье. Мне тогда было двадцать

четыре года, а ей двадцать шесть лет. Она была красива и порочна, как будто она была настоящая теремница, искусившаяся во всех видах скрытности. Один год жизни с нею – это была целая эпопея, которой я рассказывать не стану. Кончилось тем, что она попала, во что не метила, и я ее увидел однажды в литерной ложе, в которую она поехала с родственною нам княгиней Марьей Алексеевной. Я хотел войти, а княгиня говорит: «Это нельзя – твоя жена там не одна». – «Это что?!» – «Это, – говорит, – этикет». Я плюнул и сейчас же ушел из дома, и хотел застрелиться или кого-то застрелить. Такое было возбуждение!

Я вам говорил, как я терпимо отношусь к ошибкам женщины; но это там, где есть увлечение, а не там, где этикет. Я не из таких. Я ударился в противный лагерь, где не было этикета. Именно – противный! В душе моей клокотала ненависть, и я попал к ненавистникам. По-моему, они были не то, за что слыли. Впрочем, я дел с ними не наделал, а два года из своей жизни за них вычеркнул. Жена из «благословенного семейства» в это время

жила за границую и проигралась в рулетку. Вслед за тем дифтерит и ее печальный конец, а мое освобождение. Я никак не могу уйти от внутреннего чувства, которое говорит мне, что эти два события находились в какой-то причинной связи. Я мчался куда-то – черт меня знает куда, и с разбега попал в «общежитие», где одна барышня, представлявшая из себя помесь нигилистки и жандарма, отхватила меня в два приема так, что я опять ни к черту. Сначала она прозвала меня для чего-то псевдонимом «Левель-вдовец», а потом «во имя принципа» потребовала, чтобы я вступил с нею в фиктивный брак для того, чтобы она могла жить свободно, с кем захочет. Я имел честь всю эту глупость проделать, а она исполняла то, что жила, как хотела, но требовала с меня половину моего жалованья, которого мне самому на себя не доставало. Я вооружился против такой неожиданности. Она явилась к начальству, – меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувствовал унижение сверх меры и, дождавшись вечера, взял пистолет и пошел опять к частоколу у Таврического сада. Мне почему-то казалось,

что я непременно там должен застрелиться, чтобы упасть в канаву. Я и упал в канаву, но только с такой раной, от которой скоро поправился. Мой строгий начальник был тронут моим положением и послал меня в отпуск к родным. «Здесь, в Петербурге, скверный воздух, – сказал он. – Поезжайте *домой*. Подумайте там общим семейным судом, как вам облегчить свою участь». Я приехал к отцу и к матери, но что же я им мог рассказать? Разве они, добрые помещики и славяне, могли понять, что такое я наделал? Дяде при конце отпуска я, однако, все открыл. Он говорит:

«Очень скверно; но постой, мне одна мысль приходит. Тебе от этой курносой надо куда-нибудь уйти».

Он поднялся из-за своего письменного стола, походил взад и вперед по комнате в своем синем шелковом халате, подпоясанном красным мужичьим кушаком, и стал соображать:

«Есть какая-то морская служба в Ревеле. Там теперь живет баронесса Генриета Васильевна. У себя в Москве мы ее звали Венигретой. Она замечательно умная, очень образованная и очень добрая женщина, с прямым и

честным характером. Я ее знал, когда она еще была воспитательницей и без всяких интриг пользовалась большим весом, но не злоупотребляла этим, а напротив – делала много добра. Она должна быть и там, в своей стороне, с большими связями. Немцы ведь всегда со связями, а Венигрета Васильевна в свое время много своих немцев вывела. У нее непременно должны быть и в вашем ведомстве люди, ей обязанные. Я ей напишу, и знаю как напишу – совершенно откровенно и правду».

Я говорю:

– Всего-то лучше не пишете, – совестно.

– Нет, отчего же?

– Да что уж такую глупость без нужды рассказывать!

– А-а, нет, ты этого не говори. «Быль молодцу не укор», а немки ведь, братец, сентиментальны и на всех ступенях развития сохраняют чувствительность. Они любят о чем-нибудь повздыхать и взахаться! Ah, Gott! Ah, Herr Jesu! Ah, Himmel![9] Вот до этого-то и надо возогреть Венигрету! Тогда дело и пойдет, а без этого им неповадно.

Написал дядя в Ревель баронессе Венигрете, и враз дней через десять оттуда письмо, и самое задушевное и удачное, и как раз начинается со слов: «Ah, mein Gott!..»[10] Пишет: «Как я была потрясена и взволнована, читая письмо ваше, уважаемый друг. Бедный вы, бедный молодой человек, и еще сто раз более достойны сожаления его несчастные родители! Как я о них сожалею. Schreckliche Geschichte![11] Я думала, что такие истории только сочиняют. Бедный ваш племянник! Я прочитала ваше письмо сама, а потом местами прочитала его моей дочери Лине и племяннице Авроре, которую мать прислала ко мне из Курляндии для того, чтобы я прошла с нею высший курс английского языка и вообще закончила образование, полученное ею в пансионе. Понятно, что я передала девочкам только то, что может быть доступно их юным понятиям об ужасных характерах тех русских женщин, которые утратили жар в сердце и любовь к Всевышнему. Бедные дети были глубоко тронуты страданиями вашего молодого Вертера и отнеслись ко всему этому каждая сообразно своим склонностям и характерам.

Дочь моя Лина, которой теперь семнадцать лет, тихо плакала и сказала: „Ah, mein Gott! Я бы не пожалела себя, чтобы спасти жизнь и счастье этому несчастному молодому человеку“; а маленькая Аврора, которой еще нет и шестнадцати лет, но которая хороша, как ангел на Каульбаховской фреске, вся исполнилась гневом и, насупив свои прямые брови, заметила: „А я бы гораздо больше хотела наказать таких женщин своим примером“. У вашего претерпевшего юноши здесь теперь есть друзья – не одна я, старуха, а еще два молодые существа, которые его очень жалеют, – и когда он будет с нами, они своим чистым участием помогут ему если не забыть, то с достоинством терпеть муки от ран, нанесенных грубыми и бесчеловечными руками его сердцу».

Это так именно было написано. Я привожу вам это письмо хотя и на память, но совершенно дословно, как будто я его сейчас читаю. Оно было получено мною в такой момент моей жизни, когда я был в пух и прах разбит и растрепан, и эти теплые, умные и полные участия строки баронессы Венигреты

были для меня как послание с неба. Я уже не добивался того, есть ли какая-нибудь возможность устранить меня от Петербурга и убрать в спокойный Ревель; но меня теперь оживило и согрело одно сознание, что есть где-то такая милая и добрая образованная пожилая женщина и при ней такие прекрасные девушки. С направленскими дамами, с которыми я обращался, в моей душе угасло чувство ютливости, – меня уже даже не тянуло к женщине, а теперь вдруг во мне опять разлилось чувство благодарности и чувство приязни, которые манили меня к какой-то сладостной покорности всем этим существам, молодым особенно. А между тем в письме баронессы было полное удовлетворение и на главный, на самый существенный вопрос для моего спасения от скандализовавших меня в Петербурге нападок. Она извещала, что просила за меня своего брата, барона Андрея Васильевича Z., начальствующего над известною частью морского ведомства в Ревеле, и что я непременно получу здесь место. А вслед за тем последовал надлежащий служебный запрос и состоялся мой перевод.

Глава седьмая

Я, разумеется, был так рад, что себя не помнил от радости и сейчас же навалил баронессе Венигрете самое нелепое благодарственное письмо, полное разной чувствительной чепухи, которой вскоре же после отправления письма мне самому стало стыдно. Но в Ревеле это письмо понравилось. Баронесса ответила мне в нежном, почти материнском тоне, и в ее конверте оказалась иллюминированная карточка, на которой, среди гирлянды цветов, два белые голубка или, быть может, две голубки держали в розовых клювах голубую ленту с подписью: «Willkommen».[12] Детское это было что-то такое, точно или меня привечали, как дитя, или это было от детей: «Милому Ване от Лины и Авроры». Написано это не было, но так мне чувствовалось. Я был уверен, что этот листочек всунули в конвертик или ручки мечтательной Лины, или маленькая лапка энергической и гневной Авроры, которая хочет всем пример задать. И я унес этот листок в свою комнату, поцеловал его и положил в бумажник, который

всегда носил у своего сердца. Во мне не только шевелилась, но уже жила самая поэтическая и дружественная расположенность к обеим девушкам. Я ожил и даже начал мечтать, хотя очень хорошо знал, что мне мечтать не о чем, что для меня все кончено, потому что я погубил свою жизнь и мне остается только заботиться о том, чтобы избегать дрянных скандалов и как-нибудь легче влачить свое существование.

Словом, я сюда рвался и летел и, не зная лично ни баронессу, ни девиц, уже любил их от всего сердца и был в уверенности, что могу броситься в их объятия, обнимать их колени и целовать их руки. А пока я только обнимал и целовал дядю, который устроил мне это совершенное благополучие.

Но родители мои, к которым я вернулся, чтобы проститься, отнеслись к этому холоднее и с предосторожностями, которые мне казались даже обидными. Они меня всё предостерегали. Отец говорил:

– Это хорошо, – я ни слова не возражаю. Между немцами есть даже очень честные и хорошие люди, но все-таки они немцы.

– Да уж это, – говорю, – конечно, как водится.

– Нет, но мы обезьяны, – мы очень любим подражать. Вот и скверность.

– Но если хорошему?

– Хоть и хорошему. Вспомни «Любушин суд». Нехорошо, коли искать правду в немцах. У нас правда по закону святу, которую принесли наши деды через три реки.

– Пышно, – говорю, – это как-то чрез меру.

– Да, это пышно, а у них, у немцев, хороша экономия и опрятность. В старину тоже было довольно и справедливости: в Берлине раз суд в пользу простого мельника против короля решил. Очень справедливо, но все-таки они немцы и нашего брата русака любят переделывать. Вот ты и смотри, чтобы никак над собою этого не допустить.

– Да с какой же, – говорю, – стати!

– Нет, это бывает. У них система или, пожалуй, даже две системы и чертовская выдумка. Ты это помни и веру отцов уважай. Живи, хлеб-соль води и даже, пожалуй, дружи, во всяком случае будь благодарен, потому что «ласковое телятко две матки сосет» и небла-

годарный человек – это не человек, а какая-то скверность, но похаживай почаще к священнику и эту суть-то свою, – нашу-то настоящую русскую суть не позволяй из себя немцам выкуривать.

– Да уж за это, – говорю, – будьте покойны, – и привел ему шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути из нас ничем не выкуришь».

А отец поморщился:

– Твой Тургенев-то, – говорит, – сам, братец, западник. Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море, так своей сути и лишился.

– Да и Некрасов тоже, – хотел было я продолжать, но при этом имени отец меня перебил и погрозился.

– Этого, – говорит, – уж и совсем не трожь, – этот чего еще ненадежнее. Сам и зуд зудит, сам и расчес расчесывает, и взман манит, и казнить велит; сам просит: «Виновных не щади!» Нет, нам надо чистые руки... Вот как Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы – вот с кого нам надо пример брать. Самарин-то – ведь он был в этом, в их Колыванском краю,

но они, небось, его не завертели. Думали завертеть, да он им шиш показал. И ты будь таков же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шиш. Помни это и чаще к духовенству похаживай и мне пиши. Я тебе буду отвечать и укреплять тебя в направлении, а по воскресеньям непременно к священнику похаживай. Какой ни есть поп – он не тут, так там, не в церкви, так за пирогом, а все патристическое слово скажет. А проездом через Москву появишься Аксакову. Скажи, что я тебе говорил, и послушай, что он еще тебе скажет. Он мужик вещей!

Матушка наказала только в Москве у Иверской покропиться.

– А за прочее, – сказала она, – я за тебя уж не боюсь – ты уже так себя погубил, что теперь тебя от женщин предостерегать нечего: самая хитрая немка тебя больше спутать не может; но об опрятности их говорят много лишнего: я их тоже знаю, – у нас акушерка была Катерина Христофоровна; бывало, в котором тазу осенью варенье варит, в том же сама целый год воротнички подсинивает.

Дядя повел меня в Москве к Аксакову.

– Нельзя, – говорит, – без этого. А когда станешь с ним разговаривать, то помни, какого ты роду и племени, и пускай что-нибудь от глаголов. Сипачевы, братец, издавна были стояльцы, а теперь и ты уже созрел – и давай понимать, что отправляешься для борьбы.

Я, признаться, совсем этого не думал, но промолчал и был представлен Аксакову, который, узнав о моей «миссии», долго смотрел мне в глаза и сказал:

– Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой. Мы должны быть хозяевами на Колыванском побережье. Ревель – ведь это наша старая Колывань!

И дядя тоже вспомнил про «Колывань». Когда мы «шествовали» от Аксакова домой, дядя меня поучал:

– Если встретишь добрый привет в *колыванском семействе* (так именовал он семью Венигреты), будь им благодарен, но не увлекайся до безрассудства, дабы не ощутить в себе измены русским обычаям. Лучше старайся сам получить влияние на них.

Я чувствовал, как будто все это что-то фальшивое. Какая Колывань? Какая моя там

«миссия»? На кого я мог влиять и кому стану показывать «шиш», когда я сам какая-то чертова кукла и нуждаюсь в спасении бегством!

Было в этом во всем даже нечто детски-эгоистическое: никакого внимания к душевному состоянию человека, а только *свой вкус* и basta! Можно было думать, что и этим, как и другим, до *личного счастья* человека нет никакого дела!

Все, к чему я сам стремился, заключалось именно только в том, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это были настроены все мои помыслы, в этом, на мой взгляд, состояла вся моя «миссия» на Колыванском море. Но тем более я спешил на эту Колывань, к своим колыванским «друзьям», и действительно встретил друзей прелестных.

Глава восьмая

Баронесса Венигрета Васильевна жила в своем домике в новой части города. Она была небогата. Муж, которого она, по всем вероятностям, очень любила, умер очень рано и ничего ей не оставил, кроме честного имени и дочки Лины. Баронесса была красавица и отлично образована, что, впрочем, не редкость между женщинами из остзейской аристократии – даже и в захудалых родах. Благодаря этому образованию, а также, конечно, хорошим связям, Венигрета Васильевна попала в воспитательницы. Она окончила свое дело с честью и пять лет перед этим отпущена с пенсией, которой ей было довольно на то, чтобы жить с дочерью в своем городке безбедно. Она имела полную возможность остаться и в Петербурге, но свет ей прискучил, и она предпочла возвратиться под свой отчий кров, где у них еще была жива бабушка. Смешного в баронессе не было ровно ничего: напротив, она всегда была препочтенная и всем внушала к себе уважение. Прозвать ее «Венигретой» могло только наше русское пустосмешество.

Домик, где жила семья баронессы, был небольшой, но прехорошенький, с флигельком в три комнаты, где жила бабушка, которую и я застал еще в живых, и при доме прелестнейший садик. Словом, настоящее жилище честной немецкой образованной семьи.

Когда я сюда первый раз пришел, мне показалось, что я вступил в рай и встретил ангелов. О баронессе нечего и говорить: вы и теперь еще видите, какая это женщина, – она всем внушает почтение. И она его стоит, и больше того стоит. Лина... вы тоже видите... Ангел. Кузина Аврора – эта вся блеск и аромат; даже старая бабушка, которой тогда было восемьдесят лет, и та была очарование: беленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Приняли они меня – я хотел бы сказать: как родные, но я никогда не видал, чтобы у нас самые лучшие родные умели так принять человека, так тихо и просто, а в то же время ласково и деликатно.

Я тут и привился. Меня пригласили приходить всякий день, и я это буквально исполнял. Прекрасный, тихий и всегда приятный образ жизни «колыванского семейства» охва-

тил меня со всею душою. Мы сошлись во всех вкусах. Я любил домашнюю жизнь – и они тоже. Я любил литературу – они, кажется, еще более. Не было образованного языка, который им был бы недоступен. Я немножко музыкант, а они все артистки. Лина с матерью играли в четыре руки на фортепиано, я на флейте, а Аврора на скрипке. Да, эта миниатюрная фея играла на скрипке твердо и сильно, как бравый скрипач в оркестре. Кроме того, обе девушки занимались живописью на материи и на фарфоре, и произведения их в обоих этих родах были так замечательны, что их покупали за границу. Было кем и чем залюбоваться и не скучать домоседством, а даже забывать свое горе. Мой здешний начальник, брат баронессы, барон Андрей Васильич, тоже был их ежедневный гость и очень одобрял установившуюся у нас дружбу. Он был гернгутер и чудака, но человек глубокой честности и благородства. Терпеть не мог кутежей и разгула, и очень утешался моим поведением.

– Что может быть этого лучше, – говорил он, – как встретить утро молитвою к Богу, днем послужить царю, а вечер провести в об-

разованном и честном семейном доме. Вас, мой юный друг, сюда привел Божий перст, а я всегда рад это видеть и позаботиться о таком благонравном молодом человеке.

Я уж не знаю, было ли ему известно все, что я натворил до этого времени, но он был ко мне неизмеримо милостив и действительно позаботился обо мне, как никто из русских, а баронесса и вообще все женское поколение знали все мои бедствия. И это их престранно занимало, особенно баронессу, которая имела общие понятия о тогдашних наших русских «сеяниях и веяниях», но интересовалась подробностями. Она, впрочем, и вообще любила говорить о нравах, причем обнаруживала удивительную и привлекательную терпимость, свойственную только большому уму, доброму сердцу и большой опытности. Так, например, поговорив раз со мною наедине о тех и других «дикостях», она умолкла, потом сложила в корзинку свою работу и, поднявшись с места, сказала с каким-то возвышенным чувством:

– Да. Спаси Боже нас от них, но спаси и их от нас. Они ужасны, а мы слишком мало дела-

ем или ничего не делаем для того, чтобы они стали иными.

Я вскочил и поцеловал ее руку, а она поцеловала меня в голову и добавила:

– Да будет прощен и пощажён и от века наказанный.

Я понял ее религиозное настроение и ответил:

– Аминь.

К беседам такого рода мы возвращались, бывало, не раз. Часто, как усядемся у лампы, они с работою, а я начну читать для них французскую или немецкую книжку, так разговор незаметно опять и свернем на эти «ужасные сердца и противные вкусы». И смотришь—опять я уже, как оный венецианский мавр, рассказываю что-то, а они слушают, бабушка тихонько посвистывает носом и спит, баронесса слушает и изредка покачивает головою, а девушки опустят руки с работою и смотрят в глаза мне: Лина с снисходительным состраданием, а Аврора с затаенным гневом.

Так мы достигли одного вечера ранней весною, когда «наша бабушка» один раз, по

обыкновенно, уснула в своем кресле и более не проснулась. Мы ее хоронили очень для меня памятным образом. Может ли что-нибудь нравиться в погребальном обряде? Одни только русские репортеры пишут про «красивые» гроба и «прекрасные» похороны; однако обычай, как хоронили бабушку, и мне понравился. Старушка лежала в белом гробе, и вокруг нее не было ни пустоты, ни суеты, ни бормотанья: днем было светло, а вечером на столе горели обыкновенные свечи, в обыкновенных подсвечниках, а вокруг были расставлены старинные желтые кресла, на которых сидели свои и посторонние и вели вполголоса тихую беседу о ней – припоминали ее жизнь, ее хорошие, честные поступки, о которых у всех оказались воспоминания. Она любила, была несчастлива – муж ее, французский выходец, был ревнивец, мот и игрок, он ее бросал и опять находил, когда ему не за кого было, кроме нее, взяться, и вдруг оказался женатым, раньше ее, на польке из Плоцка. Когда эта жена явилась с тем, чтобы донести на него, – его ударил паралич, бабушка сейчас же отдала претендентке свое именице в Кур-

ляндии и осталась при разбитом и была его ангелом, а потом удивительно воспитала сына Андрея и дочерей – Генриету и Августу, которая была матерью кузины Авроры и жила за Митавой.

Этот рассказ так расположил слушателей к лежавшей во гробе бабушке, что многие попеременно вставали и подходили, чтобы посмотреть ей в лицо. И как это было уже вечером, когда все сидевшие здесь сторонние люди удалялись, то вскоре остались только мы вдвоем – я и Лина. Но и нам пора было выйти к баронессе, и я встал и подошел ко гробу старушки с одной стороны, а Лина – с другой. Оба мы долго смотрели в тихое лицо усопшей, потом оба разом взглянули друг на друга и оба враз произнесли:

– Какой благородный характер!

С этим я протянул свою руку, чтобы коснуться руки доброй старушки, и вздрогнул: рука моя возле самой руки мертвой бабушки прикоснулась и сжала руку Лины, а в это же самое мгновение тихий голос из глубины комнаты произнес:

– Тот же самый характер есть у живой Ли-

ны.

Мы оглянулись и увидели Аврору, которая сидела за трельяжем, где мы ее ранее не заметили.

Это не был повод сконфузиться, но и я, и Лина – оба сконфузились.

Лина отошла и тихо сказала:

– Друг мой, Аврора, к несчастью – это не так.

А Аврора ей отвечала:

– Нет, друг мой, Лина, *для меня* – это так.

Глава девятая

После этого происшествия у гроба я не спал целую ночь, и с этого случая меня не оставляло чувство необъяснимой и страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я, по приглашению баронессы и по совету барона Андрея Васильевича, перешел жить во флигель старушки. Барон говорил:

– Это перст Божий! (Он везде видел перст Божий.) Вы должны быть как сын и как брат у ваших достойных друзей.

– О, я очень рад, – отвечал я.

– Да, да; я верю, что вы их любите.

– Конечно, барон: они показали мне так много добра.

– Прекрасно, прекрасно! Вы благородный молодой человек, – сказал мне барон и, пожав мою руку, тихо заплакал от умиления.

Я поселился и стал жить еще ближе к ним, и совсем слился душою с этими женщинами. Меня приглашали приехать повидаться в Москву и в Калужскую губернию, – я не ехал и чувствовал, что это не надо. Станут спрашивать, а я не хотел, чтобы меня спраши-

вали и как-нибудь называли – или шутливо, или обидно-снисходительно. Я даже мучился, когда в получаемых письмах отца были напоминания: смотреть – не онемечиться с немками. «Держи ухо остро. Дружи, а камень за пазухой носи, – чтобы шиш взяли». Все это меня мучило и казалось мне напрасно, неделикатно и нечестно. Как я мог говорить или слушать о них что-нибудь, кроме похвал и восторгов? Я никогда и во всю мою жизнь не жил так мирно и хорошо, как теперь. Всегдашний мир, всегдашняя целомудренная простота, доведенная до пределов в нашем обществе невероятных. Моя квартира – это был рай, и я знал, не мог не знать, что эти букеты цветов на столе переменяет не толстая эстонка-служанка, с которой я мог говорить только одно слово «еймуста», то есть «не понимаю». Мое белье – и то было осмотрено, и это меня сначала мучило. Я не мог спросить и не мог не догадываться, что за этим смотрят такие образованные женщины, которые в другой среде гнушались бы подобными занятиями – нашли бы их с своим положением несовместными, даже, пожалуй, шокирующими.

ми и унижительными. Английская литература, поэзия, классическая музыка, живопись на фарфоре – и мои полотенца! Но у них все это мирилось вместе.

Лето проходило. Аврора ездила к матери в Курляндию и возвратилась. Мы ее нетерпеливо ждали и разучили ко встрече ее новый вальс Шопена. Аврора приехала несколькими днями раньше, чем обещала, но нимало не поправилась, а даже как будто похудела и имела вид «грозный». Мы так над нею шутили, и она шутила и улыбалась, но потом через минуту ее очаровательное детское лицо опять становилось «грозно». Она стала как будто уединяться, и осенью, когда уже с деревьев сыпались листья, не позволяла снять качель и своего гамака, в котором она всегда любила лежать и качаться, как индианка. На участливые вопросы Лины, отчего она стала держать себя несколько странно, Аврора долго не отвечала, а потом один раз сказала:

– Не спрашивай меня: у меня есть предчувствия.

– Какие?

– Ах, вот ты как любопытна! Я боюсь, что

дождь повредил шнурки моего гамака, и он оборвется.

И она с этим так сильно повернулась в гамаке, что выпала из него на землю и до слез больно подвинула себе ногу.

Это произвело в доме тревогу, и мы целые сутки клали лед к больной ноге Авроры; а через несколько дней она стала ходить с палочкой, причем в ее фигуре и походке обнаружилось чрезвычайно большое сходство с покойной бабушкой. Оно было так велико, что сначала всех нас удивило и заставило улыбаться, а потом показалось и поразительным.

– Вот видишь, – говорила Авроре Лина, – не я, а ты будешь похожа на бабушку.

– Да, я похожа, но только наружно, а ты внутренно: у тебя прекрасное сердце, а у меня – злое. Ты вестник жизни и свободы, – я вестник смерти и неволи. Я деспот.

Лина и я рассмеялись, Аврора же продолжала быть веселою и в самый этот день действительно сделалась «вестником смерти».

Я никогда не забуду этого важнейшего дня в моей жизни. Он был день свежий и ясный. Солнце ярко обливало своим сверканьем де-

ревья, на полубогаженных ветвях которых слабо качались пожелтевшие и озолотившиеся листья, в гроздах красной рябины тяжело шевелились ожиревшие дрозды. Баронессы и Лины не было дома, служанка работала на кухне, Аврора качалась с книгою в руках в своем гамаке, а я составлял служебный отчет в своей комнате. Ради прекрасного дня окна в сад у меня были открыты.

Сильно занятый вычислениями, я слышал среди работы, что как будто стукнул молоток у запертой входной двери, а потом как будто мимо окон промелькнула стройная фигурка Авроры. Я подумал, что, вероятно, некому отпереть двери, и Аврора сама пошла это сделать. Конечно, было бы вежливее, если бы я ее предупредил, но мне было некогда, я сводил сложное вычисление и сейчас же опять в него погрузился.

Однако мне в этот раз не суждено было кончить мою работу, потому что в окно ко мне влетело и прямо упало на стол письмо в траурном конверте, с очень резкими и, как мне показалось, чрезмерно широкими черными каймами по краям и крест-накрест.

Я вздрогнул и взглянул в окно, – от него тихо и молча отходила Аврора.

«Вестник смерти!» – промелькнули у меня в памяти ее слова.

Женщины, которая так предательски меня обманула и опошшила мою жизнь, не было больше на свете. Моя жена умерла так же гадко и скандалезно, как жила. О ее смерти меня извещала ее сестра, шедшая с нею некогда тем же беспорядочным путем, но более ловко воспользовавшаяся случаем, чтобы свернуть на торную дорогу приличий. Я с нею едва был знаком, но знал, что она притворщица и лицемерка. Как все неискренние люди, желающие казаться не тем, что они есть на самом деле, она пересаливала и была несносна в своем новом направлении точно так же, как была противна в прежнем. От этого, может быть, и траур на ее конверте был слишком жирен для обозначения горя. Известительное письмо носило те же следы неумеренности: она писала, что ее сестра «довела себя до крайних положений и сама прекратила свою жизнь бестрепетною рукою». Затем шло описание самого этого происшествия и потом вы-

ражение участия ко мне: «Вы свободны, и да благословит вас Бог бульшим счастьем, чем вы имели».

Я, как гоголевский городничий, мог тоже сказать: «Боже благослови, а я не виноват». Но, как бы там ни было, – я свободен, во второй раз свободен, и теперь я уже умею ценить свободу и ее не процыганю.

И первая мысль, которая явилась в моей голове вслед за сознанием моей свободы, была мысль о том, как я должен повести себя с этим известием перед «колыванским семейством».

Скрывать это от них я бы не хотел, но мне казалось неловко и сообщать об этом баронессе. Печаль в моем лице была неуместна, равнодушие – глупо, а радость – противна. Другое дело девицы: они молоды, и я с ними короче.

Аврора проходила с книгою со своего гамака. Я ее позвал. Она остановилась.

– Не поставьте себе в труд пробежать это письмо.

Она посмотрела на листок и не приняла его, а спросила:

– В чем дело?

Я неловко и застенчиво сообщил ей новость. Аврора выслушала ее так спокойно, как будто она это знала, и отошла, не сказав мне ни одного слова. Непосредственно затем она вошла в дом, и через минуту оттуда, из залы, послышались трудные упражнения на скрипке. За ними служанке не слышать было, как снова ударил дверной молоток. Я пошел и открыл двери.

Это возвратились баронесса и Лина. У Лины развязалась и упала одна из ее покупок. Я ее поднял и стал завязывать. Баронесса тем временем вошла в дом, а мы остались вдвоем на дворе.

Стоя на одном колене и на другом обвязывая развязавшийся узел, я почти безотчетно достал из кармана полученное письмо и сказал: «Пожалуйста, прочтите», а сам опять опустил глаза к узлу и когда поднял их, то увидел, что за минуту перед этим свежее и спокойное лицо Лины было покрыто слезами.

Она поспешно сунула мне назад письмо, воскликнула: «Gott! O Gott!»[13] и скрылась в доме. Аврора теперь стояла у окна, и я видел

ее белую маленькую руку и тонкие пальцы, красиво державшие смычок, выводивший фигу.

Глава десятая

Я никогда не желал никому зла. Да; никому, и потому не желал и смерти моей мучительнице и не ожидал, что это случится. Еще более я считал бы за отвратительную гадость мечтать о свободе, пока эта женщина была жива;

но «ведь воля дорога и птичке», а тем более молодому человеку, каким я был тогда, семь лет тому назад. Я чувствовал, что у меня опять есть перья в крыльях, есть шанс на долю счастья в жизни, но мне было странно, что вместе с этим оживляющим меня сознанием я чувствовал мертвящую немощь перед тем, что мне надо объявить свою новость баронессе.

Как? в каких выражениях я ей скажу это?

Я ее так уважал и так дорожил ее мнением, что не мог придумать, каким образом это выразить так, чтобы не вышло ни непристойной радости, ни неуместного и притворного сокрушения. Но я над этим напрасно ломал голову: мне вовсе и не пришлось говорить об этом баронессе; но у меня также и не остава-

лось места ни для подозрения, что она этого не знает, ни для недоумения, как она к этому относится.

За столом у нас был такой обычай, что, прежде чем сесть на свои места, все становились на минуту за своими стульями и брались руками за их спинки. Баронесса на короткое мгновение поникала головою. Все мы знали, что она в это мгновение произносила мысленно короткую молитву. Лина тоже следовала примеру матери. Я и Аврора не наклонялись. Это никого не раздражало и не обижало. Здесь понимали, что верить и не верить – это не во власти человека, и о вере не спорили, а прямую искренность умели уважать выше притворства. Потом Лина снимала крышку с суповой вазы, и мы садились, а баронесса начинала нам раздавать налитые ее рукою тарелки.

Нынче это произошло не так. После того как баронесса нагнула в молчании свою голову, она ее подняла и, не отодвигая, по обыкновению, своего стула, взглянула вверх и произнесла вслух:

– Прости всех и убели их грехи твоею кро-

вию.

Лина сказала «Аминь», и они все – мать, дочь и Аврора – взглянули на меня и сели.

Обед прошел своим чередом. Я все понял. Порою мне думалось: зачем они, протестантки, молились за умершую? Потом мне подумалось, что это они молились и за меня и за других, «за всех». Мне припомнились первые дни и первые разговоры в этом дорогом мне колыванском семействе, и тогдашний вздох баронессы, и ее слова: «Спаси нас от них, но и их спаси от нас, потому что и мы слишком мало делаем или ничего не делаем».

Какая гармония чувств и ощущений! Какая во всем этом деликатность, и грация, и теплота, и ширь, и свобода! Кто мог бы устоять против тихого, но неодолимого обаяния этого круга, исполненного благодати! Конечно, не я. Если бы я в ту пору, несмотря на мою молодость, в двадцать пять лет не был уже нравственным калекою, с изломанной и исковерканной прошедшею жизнью, – я бы, конечно, занесся мечтами и, может быть, возмнил бы себя вправе претендовать на более тесное сближение с этим семейством. Но Про-

видение дало мне каплю рассудка и каплю честности; я знал всю разделяющую нас бездну, я понимал их недостижимую для меня чистоту и свою омраченность. Что бы там ни заговорил за меня какой-нибудь софизм, я все-таки был виноват, я путался в недостойных историях, водился с безнравственными людьми, и волей неволей ко мне все-таки прилипла грязь моего прошедшего. Я знал, что я ни о чем не смею думать и что мне нет, да и не нужно поправки; но тем не менее я вспомнил теперь, что я здесь не крепок, что я тут чужой, что эти прекрасные, достойные девушки непременно найдут себе достойных мужей, и наш теперешний милый кружок разлетится, и я останусь один... один...

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»

Окончив обед, я подошел к баронессе, чтобы поблагодарить ее, и, целуя ее руку, тихо сказал ей:

– Не прогоняйте меня никогда от себя!

Она мне отвечала рукопожатием.

Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то, о чем я не смел и думать, как о

высшем и никогда для меня недостижимом счастье. Следующей весной я был мужем Лины – счастливейшим и недостойным мужем самой святой и самой высокой женщины, которую Бог послал на землю, чтобы осчастливить лучшего человека. И это Божие благословение выпало на мою горькую долю... и я... я... его теперь утратил, как неразумный зверь или как каторжник. Я не могу жить... я должен себя убить... Я не могу... Но я вам до скажу все, чтобы вы знали, что я наделал и что во мне происходит.

Возвращаюсь к порядку.

Глава одиннадцатая

Все это произошло радением кузины Авроры, в которой, бог ее знает, какое биение пульса и какое кровообращение. Глядя на нее, иногда можно зафантазироваться над теориями метапсихоза и подумать, что в ней живет душа какой-то тевтобургской векши. Прыг туда, прыг сюда! Ей все нипочем. У нас так долго живут в общении с немцами и так мало знают характеры немецких женщин. То есть, я говорю, знают только одну заурядность. У этой же все горит: одна рука строит, другая – ломает, а первая уже опять возводит что-то заново. Ходит по залу с своею скрипкою и всё фути, и фути... Всем надоела! Случилась надобность ее о чем-то спросить. Вхожу и спрашиваю. Видит – и ни слова не отвечает: идет прямо, прямо на меня, как лунатик, и вырабатывает свою фугу. Пришлось то же самое во второй раз – и опять результат тот же самый. Зато в третий раз нечто совсем особенное: шла, шла, играла, вела фугу, и вдруг у самого моего уха струна хлоп – и завизжала по грифу.

– Лопнуло терпение! – говорю.

– Да! – отвечает. – Когда же вы, наконец, соберетесь?

– Что?

– Сделать Лине предложение!

– Я?! делать предложение!.. Лине!!!

– Да, я думаю, – вы, а не я, и никто другой за вас.

– Да вы вспомните, что вы это говорите!

– О, я все помню и все знаю.

– Разве я смею думать... разве я стою внимания Лины!

– Говоря по совести, как надо между друзьями, конечно, нет, но... произошла роковая неосторожность: мы, сентиментальные немки, мы иногда бываем излишне чувствительны к человеческому несчастью... Если вы честный человек, в чем я не сомневаюсь, вы должны уехать из этого города или... я ведь вам не позволю, чтобы Лина страдала. Она вас любит, и *поэтому* вы ее стоите. А я вас спрашиваю: когда вы хотите уехать?

– Никогда!

– В таком случае... Лина!

– Бога ради! Дайте время!.. Дайте подумать!

– Лина! Лина! – позвала она еще громче.

– А-а! – отозвался из соседней гостиной голос Лины.

– Иди скорей, или я разобью мою скрипку.

Вошла, как всегда, милая, красивая и спокойная Лина.

– Этот господин просит твоей руки.

И, повернувшись на каблучке, Аврора добавила:

– Извини за неожиданность, но из долгого раздумья тоже ничего лучшего бы не вышло. Я иду к Tantel.

– Лина! – прошептал я, оставшись вдвоем.

Она на меня взглянула и остановилась.

– Разве я смею... разве могу...

Она тихо ответила:

– Да.

Через неделю Аврора уехала к матери в Курляндию. Мы всё перед баронессой молчали. Наконец Лина сама взялась сказать, что между нами было объяснение. Я непременно ждал, что мне откажут, и вслед за тем придется убираться, как говорят рижские раскольники, «к себе в Москву, под толстые звуны». Вышло совсем не то. Мы с баронессой гуляли

вдвоем, и она мне сказала:

– Я не против избрания Лины, хотя я не совсем ему рада. Вы не знаете, почему?

– Знаю. Мое прошлое...

– Совсем нет. Это слишком глупо и жестоко тянуть за человеком весь век его ошибки, но... вы русский!..

– Вы так терпимы, баронесса!.. Так долго жили в России.

– Да, это я.

– А Лина тем более.

– Нет – вы??

– Я – все, что вы хотите!

– Просите благословения у ваших родителей.

Я попросил.

Тут и загудели из Москвы «толстые звуны».

Глава двенадцатая

Матушка сокрушалась. Она находила, что я уже два раза бог весь что с собою наделал, а теперь еще *немка*. Она не будет почтительна. Но отец и дядя радовались – только с какой стороны! Они находили, что наши стали все очень верченые, – такие затейницы, что никакого покоя с ними нет, и притом очень требовательны и так дорого стоят, что мужу остается для их угождения либо красть, либо взятки брать.

«Немки лучше», – возвещал отцу дядя из Москвы в Калугу и привел примеры «от иных родов», таких же «столповых», как и наш род Сипачевых. Успокоили отец с дядею и матушку, что «немки хозяйственны и *для заводу добры*». Так все это мне и было изъяснено в пространных отписках с изъяснением, кто что думал и что сказал, и чем один другого пере-сил. Матушка, кажется, больше всего была тем утешена, что они «для заводу добры», но отец брал примеры и от «больших родов, где много ведомо с немками браков, и все хорошие жены, и между поэтами и писателями

тоже многие, которые судьбу свою с немецкою женщиною связали, получили весь нужный для правильной деятельности покой души и на избрание свое не жаловались». Низводилось это до самых столпов славянофильства. Стало быть, мне и Бог простит. Отец писал: «Это твое дело. Тебе жить с женою, а не нам, ты и выбирай. Дай только Бог счастья, и не изменяй вере отцов твоих, а нам желательно, наконец, иметь внука Никитку. Помни, что имя Никиты в нашем сипачевском роду никогда прекращаться не должно, а если первая случится дочь, то она должна быть, в честь бабушки, Марфа». Я, разумеется, обрадовался и говорю баронессе, что отец и мать согласны. Она захотела видеть письмо, и я подал это письмо баронессе, а она Лине. Лина покраснела, а уважаемая баронесса не сделала никакого замечания. Я их обнял и расцеловал: «Друзья мои! – говорю, – истинно, нет лучше, как немецкие женщины». И я действительно тогда так думал – и женился. Жена моим старикам письма написала по-русски. Живем прекрасно: Москва и Калуга спокойны и рады – только всё осведомляются: «в

походе ль Никитка?» Наконец напророчили! Я пишу: «Лина, кажется, чувствует себя не од-
ною».

Сейчас же и дядя и отец сразу с обеих коло-
колен зазвонили. «Благословение непраздной
и имущей во чреве; да разверзет ее ложесна
отрок» и проч. и проч. У дяди всегда все выхо-
дило так хорошо и выпренно, как будто он
Аксакову в газету передовицу пишет, а отец
не был так литературен и на живчака при-
хватывал: «Только смотри – доставь мне Ни-
китку!.. Или разве в самом крайнем случае
прощается на один раз Марфа». Более же од-
ного раза не прощалось.

Матушка мало умела писать; лучше всего
она внушала: «Береги жену – время тяготно»,
а отец с дядею с этих пор пошли жарить про
Никиту. Дядя даже прислал серебряный ков-
шик, из чего Никиту поить. А отец все будто
сны видит, как к нему в сад вскочил от
немецкой коровки русский теленочек, а он
его будто поманил: тпруси-тпруси, – а теле-
ночек ему детским языком отвечает: «я не
тпруси-тпруси, а я Никитушка, свет Иванович
по изотчеству, Сипачев по прозванию».

Сделался этот Никита Иванович Сипачев моим нравственным или долговым обязательством, которого мне никак избыть нельзя. Итак, жена моя что-то заводское, и я заводский, и наша любовь и счастливый брак наш – все это рассматривается, оценивается только с племенной, заводской точки зрения.

– «Никитка! Никитка!» – «Поддай Никитку!» – «В походе ли Никитка!» Да что же это, наконец, за родственная глупость и даже унижающее бесстыдство! Ну, а если нет и не будет «в походе» не только Никиты, а даже и Марфы, то что же тогда? Неужто об этом плакать, что ли, или считать это за несчастье и укорять Лину, как это бывало у евреев ветхого завета и у русской знати московского периода? Но, к счастью, мне было чего ожидать, и раздражение на своих было напрасно. Только очень они с этим льнут. Отец пишет, что мать теперь все молится Спорушнице «об имущей во чреве». Писали, что в поминанье Лина у них за здоровье записана Катериной, потому что Каролину священник находил неудобным поминать, так как это имя неправославное. Лина – «еретица». Давали мне совет «на-

клонять жену к вере моих отцов», но надеялись, что «когда будет Никитушка, то она, вероятно, и сама поймет, что это неизбежно. Когда же он родится и станем его крестить, то чтобы поп крестил его непременно настоящим троекратным погружением в купели, а не облил с блюдечка, как будто канарейку». Мать же извещала, что она шьет Никите распашоночки и делает пеленки из старенького, чтобы ему не резало рубцами тельце под шейкой и под мышечками.

Словом, покой мой замутился с этим Никитою. И чем дальше, тем все неотступнее.

Пришли и распашонки, и пеленочки, а от дяди из Москвы старинный серебряный крест с четырьмя жемчужинами, а от отца новые наставления. Пишет: «Когда же придет уроченное время – поставь к купели вместо меня стоять дьячка или пономаря. Они, каковы бы ни были, – все-таки верные русские люди, ибо ничем иным и быть не способны».

Все ведь это надо как-нибудь выполнить, а здесь такие приемы не приняты. Непременно придется что-нибудь лгать старикам, а я их так люблю и никогда их не обманывал.

Ожидание Никиты стало меня нервировать и мучить. Зачем они чересчур все это раздувают и о чем хлопочут? Все делалось бы само собою несравненно спокойнее и лучше, если бы они не гнали такой суеты и горячки. Кто родится, того бы и окрестили, и назвали бы Никитою или Марфой, а то я уже стал тревожиться: как, в самом деле, это будет? Или, может быть, и совсем ничего не будет – так пройдет?

Высказался даже в этом духе теще. Баронесса, вязавшая в это время одеяльце, покачала головою и, тихо улыбнувшись, отвечала:

– Нет, это *так* не проходит. А они напрасно так много беспокоятся, и ты стал беспокоен. Тебе бы пока лучше проехаться.

– Куда же, – говорю, – и как мне теперь отлучаться?

– Отчего же? Это даже хорошо. Еще числа Лины далеко, а я попрошу барона – он тебе даст командировку. Проезжайся. Числа далеко.

И я получил командировку, и в самом деле рад был проехаться. Ведь «числа далеко», а Лину оставить с нежно любящею ее матерью

нимало не страшно. Да и мой беспокойный вид и нервозность, по словам баронессы, даже нехорошо влияли на настроение духа жены, а ей в ее положении нужно спокойствие.

А заботы родных всё не унимаются: перед самым моим отъездом дядя пишет, что он намерен завещать свой дом, в переулке близ Арбата, Никите, а отец пишет, что «все наше принадлежит тебе и сыну твоему, первенцу Никите Ивановичу Сипачеву».

Я уехал в командировку на особом катере.

Прекрасно! Море, свободная стихия, маяки, запасы, поверки знаков – все это меня развлекло и заняло; но – черт возьми, – чуть только я удалился от своего берега, в моей душе вдруг зародилось какое-то беспокойство, что я обманут, что со мной сыграли какую-то штуку, что я выгнан из дома нарочно, как какой-то дурачок, и вообще со мною играют какую-то комедию.

Кто?.. Кто мог со мною играть комедию? Неужто моя милая, преданная жена, моя кроткая, верная Лина? Или неужто моя теща, баронесса, просвещенная, истинно честная и всеми уважаемая женщина, сочувствующая

всему высокому и презиращая все недостойное истинного благородства?.. Невозможно! Не верю наветам коварным.

А какой-то черт шепчет на ухо: «Э, милый друг, все на свете возможно. Стерн, английский великий юморист, больше тебя понимал», и он сказал: «Tout est possible dans la nature» – все возможно в природе. И русская пословица говорит: «Из одного человека идет и горячий дух, и холодный». Все твои домашние дамы в своем роде прелестные существа и достойны твоего почтения, и другие их тоже не напрасно уважают, а в чем-нибудь таком, в чем они никому уступить не хотят, – и они не уступят, и они по-своему обработают.

Засыпаю под плащом на палубе и вижу фигуры баронессы и Лины на берегу, как они меня провожали и махали мне своими платками. Лина плакала. Она, наверно, и теперь иногда плачет, а я все-таки представляю себе, будто я нахожусь в положении сказочного царя Салтана. а моя теща Венигрета Васильевна – «сватья баба Бабариха», и что она непременно сделает мне страшное зло: Никитку моего изведет, как Бабариха извела Гвидона,

а меня чем-нибудь на всю жизнь одурачит.

Идем под свежим ветерком, катерок крепится и бортом захватывает, а я ни на что внимания не обращаю, и в груди у меня слезы. В душе самые теплые чувства, а на уме какая-то гадость, будто отнимают у меня что-то самое драгоценное, самое родное. И чуть я позабудусь, сейчас в уме толкутся стихи: «А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой». «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку». Я зарыдал во сне. «Никита мой милый! Никитушка! Что с тобою делают!»

Боцман меня разбудил.

– Вы, – говорит, – ваше благородие, ужасно колобродите и руками брылявитесь! Перекреститесь.

Я перекрестился и успокоился.

В самом деле, что за глупость: ведь я не царь Салтан, и Никитушка не Гвидон Салтанович; не посадят же его с матерью в бочку и не бросят в море!

Так и странствую в таком душевном расположении от одного берегового пункта к другому, водворяю порядки и снабжаю людей про-

довольствием. И вдруг на одном из дальних островков получаю депешу: совершенно благополучно родился сын, — «sehr kräftiger Knabe».[14] Все тревоги минули: таким именно kräftiger Knabe и должен был появиться Никита! «Sehr kräftiger». Молодец! Знай наших комаринских!

Сами можете себе вообразить, как я после известия о рождении сына нетерпеливо кончал свои визиты к остальным маякам и с каким чувством через две недели выскочил с катера на родной берег этого города, где меня ждали жена и ребенок.

На самой пристани матрос передает приказание моего начальника явиться к нему прямо сию минуту.

Досадно, а делать нечего: еду.

Добрейший барон Андрей Васильевич прямо заключает меня в свои объятия, смотрит на меня своими ласковыми синими глазами и, пожимая руки, говорит:

— Ну, поздравляю, молодой отец, поздравляю! Извините, что я вас задержал и не пустил прямо домой, но это необходимо. Лина еще слаба, ведь она немножко обсчиталась

числом, но зато Фриде – славный мальчик.

Я сначала не понял, что такое. Какой Фриде!

– Кто это, – говорю, – Фриде?

– А этот ваш славный мальчик! Мы его вчера окрестили и всё думали: какое ему дать имя, чтобы оно понравилось...

Я перебил:

– И как же, – говорю, – вы его назвали?

– Готфрид, мой милый, Готфрид! Это всем нам понравилось, и пастор назвал его Готфрид.

– Пастор! – закричал я.

– Да, конечно, пастор, наш добрый и ученый пастор. Я нарочно позвал его. Я другого не хотел, потому что это ведь он, который открыл, что надо перенести двоеточие после слова «Глас вопиет в пустыне: приготовьте путь Богу». Старое чтение не годится.

– Позвольте, – говорю, – но ведь я его задушу моими руками!

– Кого это?

– Этого пастора!

– За то, что он перенес двоеточие?

– Нет, за то, что он смел окрестить моего

сына!

Барон выразил лицом полнейшее недоумение.

– Как зачем окрестил сына? Как душить нашего пастора? Разве можно не крестить?

– Его должен был крестить русский священник!

– А!.. Я этого не знал, не знал. Я думал, вы так хотите! Но ведь лютеране очень хорошие христиане.

– Все это верно, но я сам русский, и мои родные русские, и дети мои должны принадлежать к русской вере.

– Не знал, не знал!

– Зачем же мои семейные, жена, теща не подождали моего возвращения?

– Не знаю – судьба, перст...

– Какая, ваше превосходительство, судьба! Судьба вот была в чем, вот чего хотели все мои русские родные!

Рассказал ему все и прибавил:

– Вот какова должна была быть настоящая судьба и имя, и вера этого ребенка, а теперь все это вывернули вон. Я этого не могу снести.

– В таком случае вы здесь прежде успокой-

тесь.

– Нечем мне успокоиться! Это останется навсегда, что у меня первый сын – немец.

– Но ведь немцы также очень хорошие люди.

– Хорошие, да я-то этого не ожидал.

– А перст Божий показал.

Ну что еще с ним говорить! Бегу домой.

Отворила сама теща, – как всегда, в буклях, в чепце и в кожаном поясе, во всем своем добром здоровье и в полном наряде, – и говорит мне:

– Тссс! Потише... Фриде спит...

– Покажите мне его.

– Подожди, это сейчас нельзя.

– Нет, покажите, а то я сойду с ума! Я лопну с досады.

Показали мне мальчишку. Славный! Я его обнял и зарыдал.

– Ах ты, – говорю, – Никитка, Никитка! За что только тебя, беднягу, оборотили в Готфрида!

Выплакался досыта и ничего не стал говорить до тех пор, пока жена оправилась.

Потом раз выбрал время и говорю:

– Что же это вы сделали, Лина? Как я напишу об этом на Арбат и в Калужскую губернию! Как я его когда-нибудь повезу к деду и бабушке или в Москву к дяде, русскому археологу и историку!

Она будто не понимает этого и ласкается: но я-то ведь понимаю, какое мое положение с новорожденным немцем. Встанут отец и мать: показывай, мол, нам колыванское производство, а что такое я им могу сказать, что я покажу? Вот, мол, я вам оттуда своего производства немца привез!.. Потрудитесь получить – называется Готфрид Бульонович, в ласкательной форме Фриде, в уничижительной – Фридька. Имя не трудное, а довольно потешное. Меня засмеют и со двора с немцем сгонят. Или, еще вернее, мне не поверят, потому что этому и нельзя поверить, чтоб я, калужанин, истинно русский человек, борец за право русской народности в здешнем крае, сам себе первенца немца родил! Ад и смерть.

Прыгал я, прыгал – разные глупости выдумывал, хотел дело поднимать, донос писать, перекрещивать, да на кого доносить станешь? На свою семью, на любимую жену, на

добрую и всеми уважаемую тещу Венигрету, которую я и люблю и уважаю!.. Черт знает, что за положение!

Так ничего иного и не мог придумать, как признать «совершившийся факт», а в нем участие «перста», и затем начал врать моим старикам, что случилось несчастье: Никитки, пишу, нет, а вышел фос-куш.

Ничего другого в этом положении не выдумал.

Глава тринадцатая

Живем наново и опять так же невозмутимо хорошо, как жили. Мой немчик растет, и я его, разумеется, люблю. Мое ведь дитя! Мое рожденье! Лина – превосходная мать, а баронесса Венигрета – превосходная бабушка. Фридька молодец и красавец. Барон Андрей Васильевич носит ему конфеты и со слезами слушает, когда Лина ему рассказывает, как я люблю дитя. Оботрет шелковым платочком свои слезливые голубые глазки, приложит ко лбу мальчика свой белый палец и шепчет:

– Перст Божий! перст! Мы все сами по себе не значим ничего. – И прочитает в немецком переводе из Гафиза:

*Тщетно, художник, ты мнишь,
Что творений своих – ты создатель.*

Меня повысили в должности и дали мне новый чин. Это поправило наши недостатки. Прошло три года. Детей более не было. Лина прихварывала. Андрей Васильевич дал мне

командировку в Англию для приема портовых заказов. Лине советовали полечиться в Дубельне у Нордштрема, в его гидропатической лечебнице. Я их завез туда и устроил в Майоренгофе, на самом берегу моря. Слагалось прекрасно: я пробуду месяца два за границей, а они у Нордштрема. Чудесный старик-немец и терпеть не мог остзейских немцев, все их ругал по-русски «прохвостами». Больных заставлял ходить по берегу то босиком, то совсем нагишом. В аптечное лечение не верил нисколько и над всеми докторами смеялся. Исключение делал только для одного московского Захарьина.

– Этот, – говорил, – один чисто действует: он понял дело и напал на свою роль.

А похвала эта, впрочем, в простом изъяснении сводилась к тому, что он почитал знаменитого московского врача «объюродевшим», но уверял, что «в Москве такие люди необходимы» и что она потому и крепка, что держится «*credo quia absurdum*».[15]

Любопытный был человек! Жил холостяком, брак считал недостойным и запоздалым учреждением, остающимся пока еще только

потому, что люди не могут найти, чем бы его заменить; ходил часто без шапки, с толстой дубиной в руке, ел мало, вина не пил и не курил и был очень умен.

Моя теща пользовалась его расположением «как умная немка». Жена моя должна была у него лечиться. После она хотела съездить к Tante Августе в Поланген, где море гораздо солонее.

Я сказал:

– Прекрасно.

– И Фриде с собою возьмем, надо его показать танте и Авроре: она ведь его еще не видела.

– Пожалуйста, возьмите; его только и останется показывать танте Августе да Авроре.

Лина укоризненно покачала головою.

– Какой ты, – говорит, – злой!

– Да, я злой, а вы с своей мамой очень добрые: вы так устроили, что мне своим родным сына показывать стыдно.

– Почему же стыдно?

– Немец!.. лютеранин!

– Ну так что же такое?

– Ничего больше.

– Будто не все равно? Все христиане.

– То-то и есть, верно, не все равно. И я так думаю: не все ли равно, а вот по-вашему, видно, не все равно: вы взяли да и переправили его из Никитки на Готфрида.

А жене уж нечего сказать, так она отвечает:

– Ты придираешься. Лишнюю комнату, которая у нас наверху, мы отдадим дяде барону (то есть Андрею Васильевичу).

– Чудесно.

– Ведь мы ему много обязаны.

– Конечно.

– Он очень любит Нордштрема.

– И Нордштрем его любит.

– Правда?

– Да.

– Он тебе говорил это?

– Как же. Он мне говорил, что барон – гороховый шут.

Лина обиделась.

– Я, – говорит, – думаю, что ты шутишь.

– Нет, не шучу; но, впрочем, Нордштрем хотел свести барона с каким-то пастором, который одну ночь говорит во сне по-еврейски,

а другую – по-гречески.

Лина заметила мне, что я дерзок и неблагодарен.

В ней была какая-то нервность. Так мы расстались и почти три месяца не видались. В разлуке в моем настроении, разумеется, произошла перемена: огорчения потеряли свою остроту, а хорошие, радостные минуты жизни всплывали и манили к жене. Я ведь ее любил и теперь люблю.

Андрей Васильевич встретил меня в Риге на самом вокзале, повел завтракать в парк и в первую статью рассказал свою радость. Пастор, с которым познакомил его Нордштрем и который «во сне говорил одну ночь по-еврейски, а другую – по-гречески», принес ему «обновление смысла».

– Что же такое он открыл?

– А, друг мой, – это благословенная, это великая вещь! Я теперь могу молиться так, как до этой поры никогда не молился. Сомнения больше нет!

– Это большая радость.

– Да, это радость. Впрочем, я всегда думал и подозревал, что здесь нечто должно быть не

так, что здесь что-то должно быть иначе. Я говорю о «Молитве Господней».

– Я ничего не понимаю.

– Но ведь вы ее знаете?

– «Отче наш»-то? – Ну, конечно, знаю.

– И помните прошение: «Хлеб наш *насущ-*
ный дай нам сегодня»?

– Да, это так.

– А вот то-то и есть, что это не так.

– Позвольте...

– Да не так, не так! Я и прежде задумывался: как это странно!.. «Не о хлебе человек жив», и «не беспокойтесь, что будете есть или пить», а тут вдруг прошение о хлебе... Но теперь он мне открыл глаза.

– А мне хочется сперва в Дубельн, к жене... боюсь, как бы не пропустить поезда.

– Нет, не пропустим. Вы понимаете по-гречески слово: «*ehigsios*»?

– Не понимаю.

– Это значит: «*надсущный*», а не *насущ-*
ный, – хлеб не вещественный, а духовный...
Все ясно!

Я перебил.

– Позвольте, – говорю, – вы мне это что-то

еретическое внушаете. Мне это нельзя.

– Почему?

– Я человек истинно русский и православный – мне нужен «хлеб насущный», а не *надсущный!*

– Ах, да! А я теперь в восторге читаю эту молитву и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно и хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленького Волю, и он это сделал...

– Какого Волю?

– А второй сын ваш, Освальд!

– Ничего не понимаю!.. Какой сын?.. У меня один сын, Готфрид!

– Это первый, а второй-то, второй, который месяц назад родился!

– Что?.. Месяц назад?.. Что же он, тоже «e h i g s i o s», что ли, необыкновенный, *надсущный?* Откуда он взялся?

– Его мать – Лина.

– Но она не была беременна.

– А, этого я не знаю.

Я вне себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе на дачу, и первое, что встречаю, – теща, «всеми уважаемая баронесса». Не могу

здороваться и прямо спрашиваю:

– Что случилось?

– Ничего особенного.

– У Лины родился ребенок?

– Да.

– Как же это так?.. Отчего же...

– Что за вопрос!

– Нет, позвольте!.. Как же три месяца тому назад, когда я уезжал... я ничего не знал? В три месяца это не могло сделаться!

– Конечно... Это надо девять месяцев. Зачем же ты это не знал!

– Почему же я мог знать, когда мне ничего не говорили?

– Ты сам мог знать по числам.

– Черт вы, – говорю, – черт, а не женщина!

Черт! черт!

Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баронессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней относился!

Ну, дальше что же рассказывать! Разумеется, хоть лопни с досады – ничего не поделаешь! Опять все кончилось, как и в первом случае. Только я уже не истеричничал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил

объяснение в мажорном тоне.

Я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло и что я в моих отношениях к семье переменяюсь.

– Как? Зачем переменяться?

– А так, – говорю, – что совсем переменяюсь, – вы ведь еще не знаете, какой у меня неизвестный характер.

– А какой неизвестный характер?

– Я вам говорю – «неизвестный». Я и сам не знаю, что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это имейте в виду, если еще раз захотите мне сделать сюрприз по числам.

– Какая глупость!

– Ну вот, смотрите!

У меня явился какой-то дьявольский порыв – схватить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его в море. Слава богу, что это прошло. Я ходил-ходил, – и по горе, и по берегу, а при восходе луны сел на песчаной дюне и все еще ничего не мог придумать: как же мне теперь быть, что написать в Москву и в Калугу, и как дальше держать себя в своем собственном, некогда мне столь милом семействе, которое теперь как будто взбеси-

лось и стало самым упрямым и самым строптивым.

Вдруг, на счастье мое, – вижу, по бережку моря идет мой благодетель, Андрей Васильевич, один, с своей верной собачкой и с книгой, с Библией. Кортик мотается, а сам, как петушок, распевает безмятежным старческим выкриком:

*Я устал – иду к покою;
Отче! очи мне закрой,
И с любовью надо мною
Будь хранитель верный мой!*

И каким молодцом идет на своих тоненьких ножках, и все выше и выше задувает высоким фальцетом:

*И сегодня, без сомненья,
Я виновен пред Тобой;
Дай мне всех грехов прощенье,
Телу – сон, душе – покой!*

Мне стало завидно его бодрости и спокойствию, да и к жизни, к общению с людьми опять меня поманило, и на ум пришла шутка.

«Нет, постой ты, – думаю, – старый певун: пока ты дойдешь до своей постели, чтобы

вкушать сон и покой, которого просишь, – я тебя порастравлю за то, в чем, кажется, и ты „виновен без сомненья“».

Глава четырнадцатая

Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея Васильевича.

Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнял.

– Здравствуйте, – говорит, – мой друг, здравствуйте! Какая после чудесного дня становится чудесная ночь! Я в упоенье, – гуляю и молюсь, все повторяю «Отче наш» в новом различьи, – благодарю за «хлеб *надсущный*», и моему сердцу легко. «Сердце полно – будем Богу благодарны». А вы как себя чувствуете?.. Вы тоже гуляли?

– Да, гулял.

– Прекрасный вечер. Теперь домой?

– Домой.

– Вот и чудесно, и пойдем вместе. Я не скучаю и один, но с сердечным, с сочувственным и благородно мыслящим человеком вдвоем еще веселей... А вы, верно, узнали все, как это случилось, и тоже спокойны?

– Нет, – отвечаю, – я ничего не узнал, да и не хочу узнавать!

– Да, это перст Божий.

– Ну, позвольте... уж вы хоть перст-то оставьте.

– Отчего же? Когда нельзя понять, – надо признать перст.

– А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш, а не перст.

Он остановился, как будто долго не мог понять, а потом помотал перед собою пальцем и произнес:

– Ни-ни-ни! Это перст!.. И вы никогда больше не говорите «шиш», потому что «шиш», это русский нигилизм.

– Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста не вижу. Перст не указывает, как обманывать человека, а здесь обман, и потому я принимаю это за шиш, показанный всему моему дальнейшему семейному благополучию. Семейное счастье мое расстроено...

– Почему?

«Ах ты, – думаю, – тупица этакий! Еще извольте ему разъяснить „почему“!»

– Я не могу больше верить самым близким людям.

– То-то: почему?

«Фу, черт тебя возьми! – думаю. – Ишь в

чем у них, между прочим, сила кроется. Чего они не хотят понять, того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этот благочестивый певунок. А я же вас разочарую по-русски, откровенно».

И говорю:

– Я, ваше превосходительство, вам скажу только одно: я вам скажу, до каких острых объяснений у нас дошло с баронессою, которую, как вы знаете, я любил и уважал, как родную мать.

– Знаю, знаю! И она этого стоит.

– Да, а теперь я ей пригрозил.

– Чем?.. Как можно пригрозить!

– Так... сказал, что я больше ничего не потерплю и что у меня есть ужасные черты в характере, которых я сам боюсь.

– Вы это пошутили?

– Нет – совершенно серьезно.

– А что вы, например, можете сделать?

– Не знаю...

– Как же не знаете?

– В том-то для меня и есть самый большой ужас, что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя... как воспитанный чело-

век, как европеец; а потом, если меня станут очень сильно скребсти, – я и освирепею, как бык.

– Как бык!.. Гм!.. Это скверно.

– И я вперед вам говорю, что это может кончиться скверно.

– Например как?

– А например так, что я сегодня было вздумал швырнуть за ноги это дитя.

– Ой, какая гадость!

– Да, это гадость, но ведь и со мною делают нехорошее. Пословица говорит: «против жару и котел треснет».

– Ага! Хорошая пословица. Я очень люблю русские пословицы. Но это не годится. Дитя ничем не виновато.

– Ну, я донос на собственную семью напишу и пошлю.

– Офицер!.. Донос!

– Да, сам на себя.

– Этого никто не делает.

– Нет, делают; в бракоразводных делах даже очень часто делают.

– Нет, уж вы этого не делайте.

– Ну, так вот вы меня, ваше превосходи-

тельство, научите, что же мне делать-то, чего держаться и как из себя не выйти?

– Держитесь русской пословицы.

– Которой прикажете?

– «Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты говоришь с генерал-губернатором».

– Такой пословицы нет.

– Есть.

– Да уж позвольте мне, как русскому, лучше знать, что такой пословицы нет.

– Я ее от князя Суворова в Риге слышал.

– Про рижского князя Суворова про самого-то стоит пословицу сложить.

– Это правда, правда. Он фантазер, но добряк. Многое, что было невозможно, он сделал возможным. Его, бывало, попросят – он скажет: «это возможно». Очень жаль, что его больше нет, – и вам было бы хорошо.

– Мне все равно, меня мучит только, как своим родным написать, что у меня всё немцы родятся.

– Да!.. в самом деле: как бы им это написать?

– Я им чистосердечно во всем признаюсь, что я их по вашей милости обманывал и что у

меня сына Никиты нет, а есть даже два сына, и оба немца. Пусть и отец, и дядя это узнают, и они меня пожалеют и отпишут свое наследство, находящееся в России, детям моей сестры, русским и православным, а не моим детям-немцам, Роберту и Бертраму.

– Фуй!

– Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой и напишу: мне будет легче.

– Чем же легче?

– Тем, что я не буду больше моих честных стариков обманывать.

Адмирал задумался и прошептал:

– Это тоже правда.

– Конечно, правда.

– А вы первый раз им... о первом ребенке как написали?

– Я тогда солгал.

– А-а! Как жаль!

– Да, я нагло и гнусно солгал.

– Что же именно?

– Свалил все дело на *fausse couche*. [16]

– Недурно! Очень хорошо! Теперь свалите на фос-кушку!

– Нет, ваше превосходительство, я попро-

бую придумать что-нибудь другое.

– Зачем? Лучше этого не придумаете.

Расстались. Я вернулся домой и в самом деле сел писать чистосердечное признание... Как-то не пишется... Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня всё рождаются немцы, и я не могу этого прекратить.

Черт возьми нашу телегу и все четыре колеса! При случае написал про фос-кушку.

Опять живем. Получил крест, и денег дали.

К жизни охладел, и к тем вопросам, которые приходят из России, охладел. Семья-немцы растут, живу хорошо и очень тихо. Ну их совсем все вопросы! Это надо иметь к ним охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься. И то не здесь, и не в колыванской семье. Никитки от меня больше не ждут и не требуют. Все замерло там и приутихло, и во мне, казалось бы, конец. Но только, как пуганая ворона сучка боится, так и я: из дому отлучаться боюсь. Думаю: кажется, безопасно, кажется, ничего нет, а между тем Бог их знает, какая у них... природа какая-то «надсущная»: неравно вернешься, а у них уже и поет в пеленках новый немец.

Этого я не хотел больше ни за что и, признаюсь вам в своей низости, более для этого и с отцом Федором Знаменским познакомился, когда его назначили благочинным. Пошел к нему исповедоваться и говорю:

– Вот что в моем семействе два раза было. Я сам вам об этом объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этим смотреть, чтобы закон не обходили. Я часто бываю в отлучках, а вы смотрите... А то я сам после на вас донесу.

Он испугался и денег за исповедь не взял и вместо отпуска сказал мне «мое почтение», а доноса не подал.

Трус неописанный. Но зато и без его помощи нечего стало бояться. Одно горе прошло – стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастью угрожало неожиданное бедствие с другой стороны: всегда пользовавшаяся превосходным здоровьем Лина начала хворать. Изменяется в лице, цвет делается сероватый, зловещий.

Я себя не помню от отчаяния. Клянусь себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказал, плачу, как безумный.

Она меня ободряет и утешает.

– Успокойся, – говорит, – я буду жить.

Мать, баронесса, являет безмерную силу любви и самообладания.

Здесьние врачи нашли у нее что-то непонятное. Лина и баронесса отправились в Ригу. Там им сказали, что нужна скорая операция. Рассуждаем: в Петербург или в Берлин? Разумеется, в Берлин: лучше и дешевле. Я не спорю; где больная хочет, пусть там и будет. Детей, чтобы они не оставались одни при моих отлучках по службе, решили завезти по дороге к тante Августе и к кузине Авроре. Так я по необходимости служебной надобности ушел в море тотчас с началом навигации, а они должны были выехать через неделю, когда Лина будет себя немножко крепче чувствовать. Я жду от них в условленных местах известий об отъезде; по сначала писем нет, а потом извещают, что «еще не выехали», после – что «на Лину прекрасно действует покой и воздух», еще позже – что, «к удивлению, можно сказать, что врачи в Риге, кажется, ошибались и что операции вовсе, может быть, не нужно», и, наконец, – что «Лина поправляется, и они переезжают из города на дачу в Ека-

териненталь».

Это последнее известие шло долго, и я получил его только две недели тому назад, вместе с другим известием, что дядя из Москвы пишет, что отец мой умер и завещал именнице мне и «моим детям».

Я и обрадовался благоприятной ошибке врачей, и очень поскорбел, и поплакал об отце, которого давно не видал, а теперь совсем его лишился. И вот вчерашний день, расстроенный всем этим, возвращаюсь домой, влезаю в комнаты, стремлюсь обнять жену – и вижу у нее на руках грудное дитя!

Боже мой! Я ударил себя ладонью в лоб и спросил только:

– Как его имя?

– Гуня.

– Что это значит?

– Гунтер!

– Значит, я и в третий раз обманут!

Выходит баронесса и тихо говорит:

– Никакого обмана нет – это ошибкой подкралось. Остальное вы сами знаете. Слово «подкралось» так вдруг лишило меня рассудка, что я наделал все, что вы знаете. Я их про-

гнал, как грубиян. И вот теперь, когда я все это сделал – открыл в себе татарина и разбил навсегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою борьбу, и всю возню из-за Никитки: теперь я хочу одного – умереть! Отец Федор думает, что у меня это прошло, но он ошибается: я не стану жить.

– Вы хотите довольно дешево отделаться, – произнес по-немецки молодой и сильный женский голос, впадающий в контральто.

Мы оба оглянулись и увидели на дорожке, у самой дверцы, стройную молодую девушку, изю всего лица которой, отененного широкими полями соломенной шляпы, был виден один нежный, но сильный подбородок.

Я узнал, что это была Аврора, и почувствовал в душе большую радость. Я здесь становился совершенно излишним, и притом этот разбитый человек теперь будет управлен хорошим кормчим.

Кузина Аврора, конечно, за этим предстала, и, посмотрев на нее, можно было сказать, что она знает, что надо сделать, и что надо, то и будет сделано.

– Умереть легко; надо не умереть и оста-

вить семью без опоры... а вернуть себе расположение жены и уважение людей – вот что должно быть достигнуто! – услышал я через открытое окно своей комнаты и тотчас же поспешил взять шляпу и уйти из дома, чтобы не быть нескромным свидетелем щекотливого и важного семейного разговора. Но живое любопытство и особенное внимание, какое возбуждала к себе эта, так театрально, как будто по пьесе для развязки назначенная, эфирная Аврора, – побуждали меня узнать: что тут случится, что эта оригинальная и смелая девушка выдумает и что устроит. Как она поможет этому бедняку достичь исполнения очень трудной, но в самом деле необходимой и единственно достойной в его положении задачи: «не оставить семью без своей опоры и вернуть себе расположение жены и уважение людей».

Это совсем не песенка из московского песенника на голос: «Когда сын у нас родится – мы Никитой назовем», а это трудная, серьезно задуманная fuga, развить которую есть серьезная цель для всего предстоящего, но зато сколько надо иметь смысла и терпения, что-

бы всю эту фугу вывести одною рукою!

Фуга, как стройный ряд повторяемостей, берется сначала одним голосом без всякого аккомпанеента, и ее основная тема называется «вождем» (Führer), а когда он окончит – другие повторяют то же в ладе доминанты главного тона (Antwort[17]).

Иначе это не идет.

Глава пятнадцатая

В семье, потрясенной описанными событиями, все стало тихо: весь беспорядок прекратился, и как будто ничего особенного и не случилось. Было опять утро, и был вечер в день второй. Я, кажется, больше всех был обеспокоен и боялся взглянуть в сад, а по двору проходил не иначе как после обозрения, что путь свободен. На третий день был праздник «Johannes», [18] соответствующий нашему Купале. Все уезжали in's Grüne [19] на мызу. Там пили, ели, пели и танцевали, а девушки плели венки и украшались ими. И я был там. Много ходил, устал и за небольшую плату, внесенную какому-то рабочему при мызе, поместился отдохнуть на сеносушке. Это была деревянная постройка, сделанная таким образом: внизу сруб небольшой, на нем балки, превосходящие величиною этот сруб, и на них второй, верхний сруб, обширнее нижнего. В этом верхнем срубе – кладовая и сушильня. Выше ее, под самую крышею, оригинальный карниз, состоящий из целого ряда совершенно однообразных и правильно размещен-

ных скворечниц. Здесь свежо, сухо, нет никаких досадительных насекомых, а только скворцы то тихо копошатся в своих скворечнях, то торопливо рокочут, ведя друг с другом торопливые и жаркие беседы на трех огромнейших липах.

Вся площадка, где построена эта сушильня, обнесена высоким частоколом, образовавшим дворик, на котором стояли под навесом два плуга, тележка и омет соломы. Под липами был круглый стол, утвержденный на столбе, две скамейки и самодельный тяжелый стул из карельской березы. В нижнем этаже сушильни было жилое помещение для того работника, который дал мне отрадный приют на сене.

Я спал довольно долго и крепко и проснулся как будто от оживленного говора, который слышался снизу.

Это и в самом деле было так.

При пробуждении своем я услышал три раза и твердо повторенное:

– Nain! nain! nain!

Это произносил молодой, сильный голос и произносил именно «nain», а не «nein», и при-

том с усиленной твердостью и с энергией. Голос мне показался знакомым.

Другой, более густой, но тихий голос отвечал:

– Но ведь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если не прав и даже много виноват я в своей непростительной несдержанности и грубости, для которой я и не ищу оправданий, то ведь не правы и они.

Это был голос моряка Сипачева.

В ответ на его слова опять послышалось то же самое упорное:

– Nain, pain!

– Какое возмутительное упорство!

– Nain, это не упорство. Упорство в тебе.

– Ну, в таком случае это – дикость.

– О да, да! Непременно! Но тебе, может быть, неудобно говорить о дикости! Ведь ты сегодня именинник, мы сегодня пируем здесь твой день, и я тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошлом, а для того, чтобы сказать тебе наедине радость, что открывается в настоящем и будущем.

– Ты всегда живешь в будущем.

– Nain! Я живу *только в настоящем*, но для будущего.

– Слушаю.

– Onkel барон сейчас мне шепнул, что он получил от Литке ответную депешу: тебя назначают на корабль, который вышел в кругосветное плавание. Он теперь уже в Плимуте, и ты должен его догнать; тебе послезавтра надо выехать.

– Гм!.. Прекрасно. Это барон Андрей Васильевич все исполнил по вашей команде, милая Аврора?

– Аврора никем не командует.

– Я готов... готов, и я даже рад, что ты это исхлопотала, Аврора.

– Еще бы не радоваться! Это единственный способ дать всему успокоиться. Ты после возвратишься домой с успокоенным сердцем.

– Да, но только это ведь я возвращусь не ближе как через два года, Аврора.

– Да, это будет *всего* через два года; но если сильно над собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы переделать в себе, что не годится.

– Это все один я должен в себе все переде-

Лывать?

– Конечно, ты; но вовсе не все, а только то, что мешает твоему семейному благополучию.

– А два года из жизни вон?

– Почему «вон»? Что употреблено на исправление себя, то не потеряно. Дело не в *долгой* жизни, а в *достойной* жизни.

– А другие в это время ничего не будут в себе ни исправлять, ни переделывать?

– Им нечего переделывать. Разве постараться сделать себя хуже.

Аврора захохотала и шутливо добавила:

– Может быть, ты думаешь, что это и стоило бы для тебя сделать?

– Я думаю, не это, а я думаю, что я вспыльчивый и дурно воспитанный человек, но что и те, кто привел меня в состояние безумного гнева, тоже не правы.

– Nain! – перебила Аврора.

– Вы поступали со мною непростительно дурно.

– Nain!

– Вы поступили зло, упрямо, узко...

– Nain!

– И наконец, бесчестно!..

– Nain!

– Вы отравили мое спокойствие, вы лишили меня возможности откровенных отношений с моими родными, сделали всех детей лютеранами, когда они должны были быть русскими.

– Nain!

Очевидно, ей теперь хоть кол на голове теши – она все будет твердить свое «nain».

Я приложил глаз к одной из резных продушин сушильной стены, чтобы посмотреть на ее лицо. Я хотел видеть, какое оно теперь имеет выражение, – и оно меня неприятно поразило. Это лицо ясно говорило, что Аврора не желает знать никаких доводов и что к справедливости или к рассудку в разговоре с нею теперь взывать напрасно. Она видела только то, что хотела видеть, и шла к тому, чего хотела достигать. Все это можно бы принять за тупость, но такому заключению противоречил быстрый и умный взгляд ее изящных серых глаз и чертовски твердое выражение подбородка.

Произнося слово «nain», она точно что-то отгрызала и, откусив, даже не смыкала губ, а

оставляла их открывши, чтобы опять еще и еще раз что-то перекусить и бросить. Ее белые, правильные зубы были оскалены, как у рассерженного зверька.

Она говорила стоя, поворотясь к собеседнику спиною, и судорожно копала и расшвыривала землю палкою своего серого кружевного зонтика с коричневой лентой.

Моряк сидел на одной из скамеек; но когда Аврора на все его доводы ответила «найн», он порывисто встал и сказал:

– Ну, хорошо. Довольно. Я не буду с тобою более спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое упрямство послужит мне в пользу... Когда я буду от вас далеко... и один... и когда мне станет о вас скучно... я вспомню тебя вот такую, какой вижу теперь... и мне будет легче.

– Nain!

– Как это «найн»?.. Я тебе сказал: мне будет легче.

– Nain!

– Почему «найн»?

Аврора полуоборотилась к нему и, топнув ногою, произнесла придыханием:

– Потому, что ты меня будешь вспоминать не такую!

Офицер улыбнулся и, тихо встав с места, взял и поцеловал руку Авроры.

– Ты права, – проговорил он, поцеловал ту же руку вторично и добавил, – но знай, Аврора, что ты сегодня самая противная, самая упрямая немка.

– О, я думаю! – отвечала, так же улыбаясь и пожав плечами, Аврора. – Ведь это только мы, упрямые немки, и имеем дурную привычку доделывать до конца свое дело. Не-немка наделала бы совсем другое, – у нее тут были бы и слезы, и угрозы, и sacrifice[20] или примирение ни на чем, до первого нового случая ни из-за чего. Да, я немка, мой милый Johann!... [21] я упрямая немка:

– И очень красивая, черт возьми, немка!

– Да, да, да! «Черт кого-нибудь возьми» – я и довольно красивая немка.

Он опять взял ее руку и проговорил:

– Но уступи же мне хоть что-нибудь.

– Ничего!

– Ну так и я же поставлю на своем: я буду звать вашего Гунтера – Никиткой.

– Что-о?!

– Вот этого третьего мальчишку я буду звать Никиткой.

Аврора громко рассмеялась.

– Можешь, можешь... Это будет очень забавно!

А в это время из-за частокола показался барон Андрей Васильевич и ласково заговорил:

– Что это могло так рассмешить нашу милую крошку Аврору?

Аврора показала пальцем на офицера и проговорила:

– Он будет называть своего третьего сына Никиткой!

– И прекрасно! – воскликнул барон. – А ты, Аврора, в самом деле остаешься здесь, с нами, с кузиной и с тантой?

– Да, Onkel, я буду жить с Tante и с Линой.

– И пробудешь все время, пока он возвратится?

– Да, Onkel.

– Милое дитя! А ты сама... Думаешь ли ты когда-нибудь о себе?

– Что думать, Onkel! – это вредно.

– Ты разве до сих пор никого особенно не

любишь?

– Ай-ай! к чему вам знать это, Onkel?

– Прости. Я думал, ведь и тебе пора. Годы идут.

– О, не беспокойтесь, Onkel! Моя пора любить уже настала, и я с нее собираю плоды.

– Ага! Что же дает тебе эта любовь?

– Удовольствие видеть счастье тех, кого я люблю, Onkel!

– И этого с тебя разве довольно?

– Этого?.. Этого много, Onkel. Это только стоит начать – и потом это никогда не окончишь!

Старик покачал головой и сказал:

– Да, ты найдешь себе роль в жизни, Аврора.

Глава шестнадцатая

И она действительно ее нашла. Со времени описанного происшествия минуло пятнадцать лет. Я заехал в Дрезден навестить поселившееся там дружественное мне русское семейство и однажды неожиданно встретил у них слабенького, но благообразнейшего старичка, которого мне назвали бароном Андреем Васильевичем. Мы друг друга насилу узнали и заговорили про Ревель, где виделись, и про людей, которых видели. Я спросил о Сипачеве.

– Ну да, да, да!.. Как же!.. Он здесь, был здесь... здесь.

Андрей Васильевич говорил так же ласково и мягко или даже еще мягче, и теперь он даже одет был во все самое мякенькое.

– «Был», – а где же он теперь?

– Он умер, но умер здесь. Ведь здесь его семейство, и здесь его похоронили. Перст Божий! Аврора ему поставила очень хороший памятник на большом кладбище. Вы можете видеть. У них реестр. Спросите: «где контр-адмирал Сипачев», – сейчас укажут.

– А он уже был контр-адмирал?

– Как же! Как же!.. Разумеется, чин дали к отставке. Прекрасно сделал кругосветное плавание и прекрасно кончил весь круг своей жизни. Аврора получает пенсию и много пишет сама на фарфоре. «W» и «R» внутри буквы «A» – это ее монограмма. Ей очень хорошо платят, но у нее ведь немало детей. Старшая дочь уже помогает Авроре.

– Позвольте, – говорю, – я не все понимаю: сколько помню, имя его жены – Лина.

– Ах, вы еще про ту старину! Лина давно умерла, и мать ее, баронесса, сестра моя, тоже умерла. А когда Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала: «Ты не плачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя и детей. А чтобы я не боялась отойти к Богу с покойной душой, дай мне слово непременно жениться на Авроре». И он, чтобы не огорчать кроткую Лину, дал ей это слово. Тогда она позвала Аврору и сказала: «Облегчи мне уход мой отсюда: подай ему руку и сохрани его и моих детей». И Аврора подала ему руку. Все так и сделалось, как просила Лина. Но вы знаете, там... у нас это было нельзя, потому что, когда он

еще не был христианином, он был два раза женат, Лина была его третья жена, и хотя один брак его совсем не был браком, но тем не менее ему жениться на Авроре было невозможно. Тогда Аврора сказала: «Пойдем отсюда», и они продали все там, и пришли сюда, и купили все здесь. Их благословил пастор, у них миленький дом, сад, и мастерская, и печь для фарфора. Перевели сюда его пенсию, и после того, когда Аврора стала его женою, у них было три дочери, и все одна другой лучше. Они прожили в счастье одиннадцать лет.

Мне стало скучно, и Аврора мне написала: «Onkel, приезжай и ты», и я у них жил и живу. Теперь я и совсем остался здесь, при них, потому что один я только мужчина. Надо всегда быть готовым в помощь друг другу, и перст Божий мне так указал.

– А где же его сыновья? Ведь им, я думаю, надо отбывать воинскую повинность в России?

Барон покривился и сказал:

– Нет, им, я думаю, это не надо. Они ведь совсем... Все ихнее теперь здесь... И мать – эта Tante Aurora. Она ведь их воспитала и очень

их любит, и они ее любят, а Аврора Россию не любит.

– Да за что она ее так – не любит?

Адмирал пожал недоуменно плечами и молвил:

– Наверно не знаю, но думаю так, что... Аврора ведь очень определенная... и она боится всего неопределенного. Мать... и детей любит, а там выходит все... что-то неопределенное.

Иван Никитич погребен в Дрездене не на русском кладбище; он, как бычок, окончательно отмахнул головою и от Москвы, и от Калуги, и кончил свой курс немцем.

Впервые опубликовано – «Книжки недели», 1888.

Примечания

Нет! (*нем.*).

[^^^]

Дядя (нем.).

[^^^]

Гулянье (*франц.*).

[^^^]

Он пришел... ах! (нем.).

[^^^]

Ах! Он пришел! (нем.).

[^^^]

Тише, папа (*нем.*).

[^^^]

7

Тише, Фриде, папа: он пришел! Тише, Воля,
папа! (нем.).

[^^^]

Имя, отчество и фамилия этого с натуры воспроизводимого мною лица в действительности были иные. Имена лиц, которые будут выведены далее, я все заменяю *вымышленными* названиями в соответственном роде. (Прим. Лескова.).

[^^^]

9

Ах, боже! Ах, Господи Иисусе! Ах, небо! (нем.).

[^^^]

Ах, боже мой! (*нем.*).

[^^^]

Страшная история! (нем.).

[^^^]

12

Добро пожаловать (*нем.*).

[^^^]

Боже! О боже! (нем.).

[^^^]

Очень сильный мальчик (*нем.*).

[^^^]

«Верю, потому что абсурд» (*лат.*).

[^^^]

Преждевременные роды (*франц.*).

[^^^]

Ответ (нем.).

[^^^]

Иоганны (*нем.*).

[^^^]

На лоно природы (*нем.*).

[^^^]

Жертва (*франц.*).

[^^^]

Иоганн (*нем.*).

[^^^]